

**Вениамин
Зикунов**

НИКИШКИНЫ КРЫЛЬЯ

Рассказы
Этюды
Эссе



Красноярск 2007

ББК 84 (2Рос = Рус)
УДК 882
З-60

Редактор Кузичкин С.Н.
Корректор Леонтьев А.В.
Оформление Феньков С.С.
Художник Туров Б.Д.

З-60 **Зикунов В.К.**

Никишкины крылья: Рассказы, этюды, эссе. — Красноярск:
«Семицвет», 2007 — 180 с.

Автор выражает благодарность ООО КрасОперГруз и лично генеральному директору Лапунову Геннадию Семёновичу за помощь в издании этой книги.

Писатель Вениамин Карпович Зикунов живёт и работает в Дивногорске. Любимый его жанр — новеллы о природе. Он исходил вдоль и поперёк удивительные окрестности молодого города. Живое общение с природой даёт ему пищу для души, и он старается через свои поэтические этюды прививать у читателей любовь к Родине, Дивногорску, к ранимой и скромной красоте сибирских пейзажей. В своих новеллах он видит, как распускается первая весенняя почка, как поселяются на полянах нежные первоцветы, как падает в лесу последний лист осени. Всё в природе — чудо: гроздь рябины, утонувший в речке Лиственке лист берёзы, что трепещет в воде, как золотая рыбка. Писатель старается, чтобы и читатели удивлялись вместе с ним этой мудрой красоте земли.

Его новеллы о природе печатались в его книгах, центральных и местных газетах и журналах. Недаром Вениамин Зикунов за рассказы о природе был признан одним из победителей краевого конкурса среди журналистов и писателей, посвящённого 70-летию Красноярского края.

© В.К. Зикунов, 2007

ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА, или К ВОПРОСУ О ПОЭТИКЕ В РУССКОЙ ПРОЗЕ

Над простором полей —
Ничем к земле не привязан —
Жаворонок звенит.

Басё

Какой будешь ты, эта новая книга? Сколько лет ты проживёшь? Сколько рук коснутся твоих листов, а значит, возможно, ненароком и моего сердца?..

Какая награда!

Вот знакомлюсь, ещё в рукописи, с книгой рассказов Вениамина Зикунова «Никишкины крылья», и на память приходят строки Есенина:

*Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам...*

И теперь только ловлю себя на мысли: а падать-то, с высоты своего роста, не озираясь, наземь — это, наверное, больно...

Но вот минет один, другой день... надвинется на Дивные горы осенняя ночь, глянцевитой сажеей вычернит стёкла окон... и он — Вениамин Зикунов — едва успев набросить что-ни-что на плечи, торопко присаживается к письменному столу; сомнамбулически, чтобы как-нибудь не сбить себя с этого сладко подкатившего комом под ложечку ещё невнятного, щемящего ощущения творить, — тянется за ручкой... той, любимой, которая сама, кажется, так и пи-

шет! так и выводит нужные к этому моменту слова! только намекни ей, чего ты хочешь.

...А эти вдохновенные слёзы?.. Не удерживайте их, маэстро! Может быть, под этой крутой, дробно искрящейся радугой, сквозь оплывших чернил — взгляды твоих читателей и последователей встретятся с твоими духовными взорами... и, вобрав в своё сердце частицы твоей души и жизни, последние понесут их дальше, туда — за такой неприветливый для тебя на сегодняшний день горизонт...

Твори, мастер... твори!.. Дай упиться чудной гармонией твоих волшебных звуков!

«И вот увесисто ударил по лопухам, по вздрогнувшим листьям свёклы и подсолнечника слепой дождь. Озарённые солнцем падали крупные капли, как будто кто-то сыпал с неба из дырявого лукошка спелую клюкву».

«Зелёный забор с золотыми петухами»

Рассказ же Вениамина Зикунова «Зелёное солнце» воспринимается мною вообще, как некий магический, бесподобной прозрачности кристалл. Поднесёшь его к своим глазам — и не хочется отрываться от него: так смотрел бы и смотрел сквозь него в разные окраины горизонта... припадая душой к бесконечной ясности слова, невесомости мысли, гармонии образа! Невольно осаживаешь себя на мысли, что начинаешь отдавать себя во власть этому чародею слова всё больше и больше... и вот уже бродишь по этому цветущему, роскошному словесному дугу без опаски на то, что здесь тебя могут и оскорбить, и обмануть, и даже убить...

«— А почему у тебя зелёное солнце? — спросил я Сергея Сергеевича.

— А как же? — удивился он моему вопросу. — Если его самоделишным, огненным нарисовать, то смотреть на картину будет нельзя. Слёзы потекут. А так хорошо. Смотри сколько хочешь...»

Хорошая русская проза (а проза Вениамина Зикунова, по моим эстетическим ощущениям, относится именно к таковой) немислима без добротной поэтической, — если можно в данном случае так выразиться, — подкладки. Слова в такой прозе, барахтаясь и толкаясь, выстраиваются в конце концов, может быть, и в простенький, для обманчивого глаза, строчечный ряд. И уже не рифма теперь — а его величество метр властвует над произведением! И простые, в ото-

рванности своей от контекста, прозаические строчки превращаются в лирические японские трёхстишия — хокку; строки «Мёртвых душ» Николая Васильевича Гоголя складываются в поэму; и даже древний памятник русской словесности «Слово о полку Игореве» — благодаря внутренней, чудесным образом выстроенной ритмике слов — воспринимается нами уже в виде поэзии: «Тогда вступи Игорь князь в злат стремя и поеха по чистому полю...» (Кстати, Сергей Александрович Есенин знал и при необходимости цитировал всё «Слово...» наизусть в подлиннике. И не от этого ли у него такая чистота поэтического слога?)

«Лепетухин перешёл через огород в избу, попил кваску. На листьях, переливаясь, играли густым светом дождевые капли. Они под собственной тяжестью скатывались вниз, звенели тонко и весело».

«Зелёный забор с золотыми петухами»

Смотрите, каким чудесным образом переключаются, перезваниваются эти зикуновские строчки с вышеупомянутыми строками «Слова...»: «Тогда вступи Игорь князь в злат стремя...» Каково сказано! — «играли густым светом дождевые капли...» Да здесь каждое слово в строке выпестовано поэзией, грезит ей!

Мы привыкли меж певческих птиц отдавать предпочтение соловью. Но соловей поёт, сидя на ветке, в прохладе листьев...

Вглядитесь же в жаворонка... в этот трепетный крохотный комочек, который испускает свои трели, одновременно поднимаясь вверх и вверх, всё выше и выше — в самый зенит...

Какая сила заставляет его делать это именно так? Всмотритесь, вслушайтесь... Спросите самого его об этом, спросите своим сердцем — и тогда, возможно, вы это поймёте.

Николай ЗАЙЦЕВ



ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОШОК

Миниатюры

КАК Я ОКАЗАЛСЯ БЕЗ ГАРМОШКИ

На Руси испокон веков в славе и «нос в табаке» ходили гармонисты. А девки — боже мой! Мигни... и твои. У нас в станице Антоньевской в гармонистах «служил» Ванька Мицурин. Парень — плюнуть жалко: прыщеватый, сутулый, с длинными, как у гориллы, руками. А как вечёрка, компания, свадьба — все к нему уважительно: «Ванваныч», и усаживают на самом почётном месте, и самую лучшую чарку наливают, а закуску так готовы вилкой в рот сами засунуть. Ешь, пей, дорогой, только ублажи мастерством, дай вволю напиться да наплясаться.

Я, пацан ещё по времени жизни, дошкольник, страсть как завидовал Ваньке и канючил в подол матери: купи да купи гармошку... В конце концов уломал.

— Ладно, Венка, будет тебе гармошка. Марта отелилась — принесла бычка. Вырастим — отвезём в Бийск на продажу, часть вырученных денег пустим на «мануфактуру», а часть — тебе на гармошку...

Естественно, бычок, которого мать не ведаю почему назвала Инквизитором, стал моим лучшим другом, этакой копилкой на четырёх ногах, от веса, упитанности которого зависело моё будущее. Я подкармливал его как мог, отбирал для него более душистые, более вкусные охапки сена, носил морковку и пустые подсолнечные шляпки. Инквизитор пожирал мои подношения, смотрел на меня влажными большими глазами, благодарно поддевал меня вылупляющимся молодым рогом. А я смотрел на него и представлял, что скоро Инквизитор превратится в гармошку с красными мехами, с золотистыми планками, а я растяну её, завлекаловку, пробегусь пальцами по звучным клавишам, врежу какой-нибудь там вальс «На сопках Манчжурии» или «Цыганочку» — и вся деревня у ног. А соседская конопушка-девчонка Зойка Гаенкина, которую я тайком любил и поэтому задирали и дёргал за косы, пройдёт по кругу, дёрнет худым плечом, выдаст каблучный дробот и запоёт частушки:

*«Кипячу я молоко
И снимаю пенку...
Я влюбилась навсегда
В Зикунова Венку...»*

А я, как и положено, закочевряжусь, отвернусь, уложу свою морду на живые меха и пойду провожать до калитки другую. Так положено — пусть Зойка поревнует да вволю наплачется...

Так бы, возможно, и было, если бы дожил Инквизитор до положенных весовых кондиций. Однако жизнь распорядилась по-другому, и мечта о гармошке осталась мечтой из-за скверного характера бычка.

Не знаю почему — или сам по дурости, или кто его научил — поимел Инквизитор вредную привычку прыгать на женщин. Выйдет из-за угла, подбежит сзади, приподымет на задних ногах, а передние копыта этак бесцеремонно водружает на плечи какой-нибудь особи прекрасной, так сказать, половины человечества. Деревенские бабы знали об этой зловредной привычке быка, визжали, хватили хворостину и под хохот окружающих приводили в нормальное чувство четырёхкопытного ухажёра. Деревенские парни, те вообще были без ума от Инквизитора, безоговорочно приняли его в свою компанию, заманивали глупое животное на вечёрку, выпускали его из темноты на круг, чтобы он погонялся за девками. Инквизитор стал большой знаменитостью в селе, этакой достопримечательностью, неотъемлемой частью деревенского быта. Я очень гордился Инквизитором, так как не видел ничего вредного в его увлечении нашими рядовыми девками. Надо сказать, что у нас на Алтае, под Бийском, бабы испокон веков были крепкие, костистые, толстопятые, работающие, и придавить их трудно даже колхозному бугаю, многотонному Пегасу. Вывернутся невредимые. Игривые прыжки Инквизитора для наших девок — так себе, смешная шутка...

Однажды прислали к нам в Антоньевку уполномоченную из района. Пигалица пигалицей — тощая, прозрачная. Зато гонора куль и маленькая тележка. Председатель колхоза Пахомыч перед ней — по стойке «смирно», народ хихикал и звал за глаза уполномоченную Фенфебелем.

Вот и поинтересовался однажды Инквизитор прыгнуть на плечи Фенфебелю. Шла она мимо нашего дома в контору, чтобы приказания давать, а Инквизитор подкрался из-за плетня и, как у него принято, свершил своё грязное дело, да вдобавок помочился на представителя

ЛЕЖУ В ТРАВЕ

райкома. Бабёнка в обморок, еле откачали. Председатель Пахомыч прибежал к нам в ограду белый как мел, губы трясутся.

— Я те, Марья, трудодни все сниму, — кричал он моей матери. — Как ты смела воспитать такого вредителя? Не бычок, а враг народа...

В общем, приказал Пахомыч Инквизитора лишить жизни и отправить мясо на прокорм полевых бригад. Как мать ни уговаривала пощадить недоросля-бычка, председатель был непреклонен.

— Я понимаю, Марья, — говорил Пахомыч. — Бычок весёлый, жизнерадостный. Вся станица ржёт. Колоть животину рано. Но я по осени возмещу тебе убыток. Будем резать скот на сдачу — отдам должок, и даже с наваром. Правление, думаю, не будет против. Но оставлять такого придурка в живых нельзя...

Мне жалко было Инквизитора. Я запустил в Пахомыча камнем. Камень провизжал рядом с ухом председателя.

— Ну, Марья, — вздохнул тяжело Пахомыч. — У тебя что дети, что бычки без уважения к власти живут. Так нельзя...

Пахомыч, ссутулясь, побрёл с нашего подворья. Он был добр и необидчив. Мать, естественно, вознаградила меня за попытку нападения на председателя хорошей взбучкой.

Уполномоченную Фенфебеля я больше не видел. Говорят, что она уехала в район и заболела от испуга.

Инквизитора увели на колхозный баз и зарезали.

В общем, остался я без гармошки...

Поздней осенью убыток, понесённый матерью за временно порезанную скотину, вернули. В Бийск продавать мясо она не поехала. Мяса как раз хватило нам на зиму. Не до продажи.

Я смирился с судьбой, мечта о гармошке мало-помалу улетучилась. Я сильно вырос, уже не дёргал соседскую девчонку Зойку за косы, не задира, а только смотрел ей вслед и тяжело вздыхал. Только иной раз с горечью думал: «Эх, гармошку бы в руки. Пробежаться по золотистым планкам, заиграть что-то о любви, чтобы Зойка оглянулась и приветливо улыбнулась...»

После вчерашнего внезапного ливня дышит лес свободно и радостно. Тянут сосны тяжёлые медвежьи лапы к солнцу, и слышно, как растёт, набирается сил наполненная влагой и теплом трава. Словно на тугую морскую волну, ложусь на неё — не гнутся крепкие стебли. Только, чувствую, поднимает меня трава всё выше и выше над землёю, и плыву я в зелёном море, одурманенный лесными запахами.

Считает кукушка мои года:

— Раз, два, три... двадцать.

— Не останавливайся! Считай до ста, до тысячи!

Упал с дерева ветер и лёг со мною рядом.

— Поднимай паруса, — сказал он тихо. — Я их наполню своим дыханием и понесу тебя по зелёному морю в тридцатое царство. Ты будешь пить там хмель из берёзового ковшика и умываться по утрам серебряной росой. Угостят тебя пчёлы терпким мёдом с гречишного поля, а по утрам будут петь для тебя песни птицы. Поднимай паруса!

Я закрываю глаза... и плыву в обещанное царство. В нём было всё так, как говорил ветер.

...Очнулся от резкой прохлады. Алый закат зажгёт верхушки сосен, и потемнело небо, готовое принять звёзды. По-прежнему стучали в спину тугие травы, но только молчала кукушка...

НЕЗАБУДКИ

Я иду по лесной дороге, где когда-то ходили жители деревни, которой уже нет. Но на месте их следов расцвели голубые, как небо, незабудки...

Подхожу к старому заброшенному колодцу и замшелой бадейкой набираю воды. Вода пахнет полынью и карасями, в ней плавают засохшие листья травы.

Я ставлю бадейку с водой на приступку колодезного сруба и ухожу обратно в лес.

Пусть пьют воду птицы и поют песни, полные радости, над бывшей деревней.

Меня привела сюда дорога из незабудок. Эта дорога приведёт в заброшенную деревню и других людей. И они тоже наберут новой воды в бадейку.

ДНИ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ

Нет, не в лесу я, а на дне морском. Не иду, а плыву, легко отталкиваясь от синего мха, и похрустывает он, как лёгкие ракушки...

А вот и ветер — царь морской: пошумел где-то там, наверху, и сел на берёзу, развесив на сучья свою седую и холодную бороду.

Он хочет спросить, кто я и зачем пришёл сюда, в это царство зелёных сосновых водорослей.

Но, видно, забыл слова ветер и, посмотрев на меня с любопытством, вновь взмыл вверх, обдав моё лицо морозным дыханием.

Между сосен дятел — красная рыбка — летает от одного ствола к другому, и звенят его крылья-плавники в густом и певучем воздухе.

Хочу поймать дятла, отталкиваюсь и плавно взлетаю над соснами, где в синей заводи кружится солнце, как тонкая прозрачная льдинка.

Нет, не в лесу я, а на дне морском, не иду, а плыву среди разноцветных кораллов, плыву и повторяю: «Дни поздней осени бранят обыкновенно».

ЧТОБЫ ОГОНЬ ЛЕТЕЛ ИЗ-ПОД КОПЫТ

Ночи сейчас холодны и туманны, и лёгкой изморозью покрываются к утру зрелые травы, а на листьях берёз твердеют мелкие капельки влаги. Но к полудню день «добрееет», и паутинки бабьего лета летят над землёй и поют прощальную песню уходящему лету.

В лесу светло и просторно, и дышат прохладой и прелью лесные низины. Грибов ещё много, особенно на солнечных откосах лесных пригорков, где стоят молодые сосняки, и грибы эти свежие, ладные, без червоточинки. Берёшь в

руки крепкие маслята, а они тверды и холодны, как ледяные: вобрали в себя грибы холод ночи, не успевают отогреться под короткими лучами осеннего солнца...

Из березняка выскочил заяц, посмотрел на меня и лениво, сыто затрусил по лесной поляне.

Рядом, на солнцепёке, попробовал настроить смычок кузнечик, но мелодия у него не получилась, и, сконфузившись, кузнечик замолчал, по-видимому, навсегда.

Ветра нет, но осина на угоре неожиданно вздрогнула, и посыпались с её веток с сухим шумом листья, как будто кто-то бросил вниз горсть красных камешков.

Два осиновых листа застряли в паутине и заморгали от дыхания земли, как крылья осенней бабочки. Паук изумлённо смотрел на листья, не решаясь тронуть добычу...

Бабье лето... Время светлой и хорошей грусти, до того светлой, что, кажется, вернулся в детство. И наплывают минуты бесшабашности: так и хочется сесть верхом на хвостинку и проскакать на красном «коне» по улицам посёлка, да так, чтобы огонь летел из-под копыт и испуганно шархались по сторонам и годы, и невзгоды...

ЗАКАТ В ТОПОЛИНОЙ РОЩЕ

Уснули тополя, и снятся им тёплые майские ливни и веселое время зрелости и листопада, а ещё им снятся журавлиные клики в голубом небе и торопливое журчанье воды на речных излуцинах Шуши.

И только во время заката, когда лучи слабого зимнего солнца подогревают шершавые стволы, просыпаются на миг тополя и, с прищуром посмотрев на заснеженную розовую даль, вздрагивают спросонья — и опять уходят в хорошие сны о тепле и лете...

Я люблю тополя на закате и часто хожу в тополиную рощу, чтобы послушать сонный бред старых деревьев.

А ещё я прихожу в рощу с надеждой: найти дупло, где зимует леший. Я видел его перед первым снегом в тополиной роще: он бродил, маленький и рыжий, от дерева к дереву по рыжей звонкой листве, но я не заметил, какое дупло он выбрал для зимней спячки.

Я обязательно найду лешего, но не буду его тревожить. Я приведу в рощу сына и покажу ему хозяина леса. Не верит мой сын, что есть чудеса на свете, потому что в учебнике по зоологии ничего не сказано о домовых, русалках и леших. И нельзя в этом винить учёных: в наше время эти загадочные существа встречаются слишком редко и давно внесены в «Красную книгу» людской памяти...

СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК

Не пойму, кто это пробегает от сосны к сосне, шуршит промёрзшим мхом. Притаился я за шершавым стволом сосны и думаю: «Неправда, выйдешь». Стою минуту, другую... Тихо в лесу, только где-то вверху шумит ветер. Вот из кустов показалось лицо с зелёной бородой — хитрое лицо, лукавое... «Ах, это старичок-лесовичок», — догадался я.

Иду дальше и не обращаю на него внимания, а старичок-лесовичок то слева забежит, то справа. Потом кашлянул в кулачок и говорит:

— Возьми меня с собой, добрый человек, холодно мне...

Положил я лесовичка за пазуху и принёс домой. Подбежал он к батарее, погрел руки и улыбнулся:

— Доживём до лета — отблагодарю я тебя... покажу, где видимо-невидимо растёт грибов и ягод. А когда у тебя будет время, буду рассказывать тебе лесные сказки...

Вот так и живёт у меня старичок-лесовичок, зелёная борода. Ночью он спит на батарее, вечером сказки рассказывает, а днём на окне стоит и в лес смотрит.

БОЯРЫНЯ

У нас в селе боярку называют «боярыней». За неброскую красоту, за то, что нелегко к ней подступиться, дали такое имя кустарнику. Совсем недавно решил я полакомиться янтарной от мороза ягодой. Потянулся за жёлтой гроздью и вскрикнул от боли. Сквозь вязанные рукавицы обожгли руку острые иголки.

И вспомнилась мне Нюра Нечаева, что живёт в нашем посёлке. В 1943 году получила она печальное известие: «Ваш муж пропал без вести». Не вернулся он в сорок четвёртом, не вернулся в сорок пятом. К ладной миловидной женщине десятки раз сватались поселковые женихи. Были среди них люди при должности, непьющие. Обжигала их Нюра, как иголками, холодным взглядом и говорила:

— А как же Фёдор? Он должен вернуться — чует сердце.

Но Фёдор так и не вернулся с войны. А однажды к Нюре посватался вдовый кузнец Гнат. Человек уважаемый, трезвый.

— Не надо, Гнат, — вздохнула она. — Более тридцати лет ждала. Подожду ещё...

Так и не вышла замуж гордая Нюра Нечаева. И зовут её у нас любовно и ласково — Боярыня.

ДВОРИКИ ДЕТСТВА

После долгой зимы и глубокого снега ожили дворики старых домов Енисейска. Ещё по углам их за поленницами дров в затемнении сохранился снег, но он почернел, осел, и идёт от него прохладный запах, как от первых грибов после утреннего дождя...

Я заглянул в такой дворик на улице Петровского. Сколько дому лет — трудно сказать. Венцы из лиственницы потрескались, сморщились, и отливает дерево янтарным блеском, как окаменевшие и отполированные веками кости мамонта. На северном скате крыши сверкают сосульки. Вот одна упала и со звоном разбилась. По приметам — на счастье...

Старушки в тёплых шалях — чтобы не застудиться от сырости — сидят на скамейках у крыльца. Они отогревают свои кости весенним солнцем и о чём-то говорят между собой.

Молодой рыжий кот ошалело носится по дворику: он пытается поймать солнечный зайчик, что отражается от стекла чуть приоткрытой форточки.

Глаза у кота горят, как угли. Створка форточки дрожит от ветерка, и «зайчик» свободно бегаёт по дворику: то появится на поленнице, то промчится по чёрной от времени стене сарая. Вот «зайчик» замешкался на деревянном тро-

туаре, и кот прямо с крыльца прыгнул на него, прижал лапами к плахе, но «зайчик» выскользнул и спрятался в дровяник. Кот сконфузился и ушёл в сенцы.

У крыльца мальчишка в синей куртке возится с велосипедом.

— Ты, Васька, слишком не торопись, — предупредила его одна из старушек. — На улице грязь — куда поедешь?

— А я только попробовать, — отвечает мальчишка и долго-долго смотрит вдаль, за Енисей, за чёрную кромку тайги.

Он о чём-то думает. Я знаю, о чём думает мальчишка в синей куртке. Я ведь тоже был когда-то мальчишкой. Меня тогда по весне до надрыва в сердце тревожила загадка горизонта. Поэтому, наверное, я по сегодняшний день такой непоседа: мельтешу по белу свету, но так и не знаю, что там, за ближним лесом, и есть ли у горизонта край и начало...

У меня тоже был свой дворик — не здесь, в Енисейске, а в степном алтайском селе. В моём дворике у плетня стояли тополя и копна соломы и не было дощатых, дымящихся по весне тротуаров. Дерево у нас берегли и топили кизяками.

Сейчас на месте моего дворика стоит пятиэтажное здание, стандартное, безликое. Я не признаю его. Дом поставили, не спросив у меня разрешения. Я бы не позволил строить бетонную коробку на месте дворика детства. Хотя, впрочем, дворик до могилы будет в моём сердце...

Уверен — мальчишка в синей куртке тоже сохранит в сердце до конца свой дворик с дымящимся тротуаром, с поленицей дров, со звоном капели... Лесорубом он будет, министром ли — безразлично!

Сохранит...

С этого дворика начинается его бесконечный путь за горизонт.

ГНЁЗДА ЛАСТОЧЕК

Когда я в первый раз двадцать лет назад появился в посёлке Шушенском, он поразил меня обилием ласточек.

В вечерние часы, когда солнце медленно опускалось в Енисей, ласточки играли над центральной площадью, как чёрные искры затухающего костра.

На ночь ласточки прятались под карнизы домов, где, как спелые плоды, висели их гнёзда. И внешне выигрывали от гнёзд дома, оживала, делалась теплее их суховатая архитектура.

Но вот по приказу председателя исполкома сбили с карнизов ласточкины гнёзда: показалось ему, что нарушают птицы привычную стандартность построек.

Я видел, как панически метались над площадью птицы, я слышал, какие проклятия, полные тоски и недоумения, летели с неба...

Все жители посёлка возмущались:

— Помешали чиновнику птицы...

Но нет, наверное, на земле существ трудолюбивее ласточек. Отошли птицы от шока и решили, что это — недоразумение, какая-то внезапная катастрофа, и с удвоенной энергией приступили к строительству новых гнёзд.

С рассвета до сумерек безропотно трудились ласточки. Носили в крошечных клювиках землю, травинки, и буквально через неделю снова повисли спелые гнёзда под карнизами домов, окружающих центральную площадь.

Но время кладки яиц было упущено, и не все семьи вывели птенцов. Поубавилось сразу птичье население посёлка, зато стало больше комара и гнуса.

В детстве мне мама говорила:

— Никогда не тронь ласточкины гнёзда. Это не птицы, а тени наших предков, и если живут ласточки под стрехами родного дома, то в нём будет всё хорошо, и предки нами довольны...

И когда я шёл по молчаливой центральной площади Шушенского, то всегда думал, что у мэра Шушенского наверняка не было хорошей и умной мамы.

ЦЕЛЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ

Последний колодезных дел мастер ещё недавно жил в нашей станице. Это Иван Сидорович Первухин. У него на подворье действовал настоящий колодец с удивительно вкусной водой.

Изба у Ивана Сидоровича — на краю Антоньевки, как раз напротив шоссе разъезда на бывшие казачьи станицы Петропавловскую и Михайловскую. Знают все в округе про колодец Первухина: останавливают шофёры у избы машины, и каждый не только старается вволю напиться целебной воды, но и запастись ею впрок, в дорогу. Водичка в колодце первозданная, непорченная, долго не теряет вкуса в любой дорожной посудине.

Иван Сидорович сидел на крыльце, покуривал трубочку, советовал:

— Берите больше — моя вода полезительна для души, настояна на земле русской, на травах полевых, на родниках. Вот скоро помру, и разрушится без хозяйского глаза колодец, а пока жив, пейте вволю...

Когда я бывал в родной станице, то непременно заходил к Первухину, захватывал с собой бутылочку, потому что не брезговал мастер выпить рюмку-две «треклятой», как он её называл.

Сидели мы обычно рядом с колодцем за самодельным столом под черёмухой, запивали водочку колодезной водой, заедали огурчиками и вели неторопливые беседы...

Жизнь у Ивана Сидоровича сложилась, как и у большинства пожилых россиян: отпахал по-пластунски в пехоте от подмосковных снегов до Чехословакии, изрешечён пулями с ног до головы, с утра до ночи вкалывал в колхозе, а под старость остался, как говорится, у «разбитого корыта». Год назад ушла на покой старуха. Дети ищут счастья по российским весям, и остался Первухин один в старой избе. Ничего у него в жизни не было дороже колодца...

Но не хаял судьбу мастер, не плакался «в жилетку» каждому встречному-поперечному.

— Оно, конечно, несладко пришлось, — говорил он, попыхивая трубочкой. — А кому, скажи, сладко было? Какой-то рок над Расеей, в падчерицах она у Бога. В царские времена мои родители от безрода и голода приехали сюда с Черниговщины, большевики пришли — то загиб, то перегиб. Сейчас к власти пришли, будь они неладны, как их — «демократы», так ещё стало хуже — хоть святых выноси. Не знаю, как и жить дальше, да, слава Богу, скоро вон туда переселюсь — к Галине Павловне, супруге своей. Скучно ей без меня...

Иван Сидорович кивал на дальний кладбищенский угол и долго молчал.

— Пожил бы, конечно, ещё, если бы колодезное дело возродил. Помог бы людям в поисках водицы. Забыли они предназначенные для этих целей приметы.

Мы наливали ещё по рюмочке. Иван Сидорович сладко крякал, запивал «треклятую» глотком воды.

— Они немудрёные, приметы-то. Запомни, мил человек. Мало ли что — возможно, пригодятся. Если в засуху, когда всё жухнет от жары, увидишь где-то куртинку зелёной травы, словно кто-то по утрам её поливает, знать, здесь грунтовые воды — рукой подать. Я ещё так делал: закажут мне колодец, так я к хозяину с неделю ходил. Сяду рано утром на крыльце, до восхода солнца, и примечаю, где туман гуще кучкует. Водичка его притягивает. Сопоставишь наблюдения — и за работу... Ни разу не ошибался в выборе места для колодца. Вся станица была в колодезных журавлях. По утрам они пели, словно праздничный оркестр. По скрипу журавля знал, какая молодка проснулась, за деревенское дело взялась. А теперь улетели в небытие журавли. И деревянные, и настоящие. Осиротела Русь...

А недавно сообщили мне, что умер Иван Сидорович. Отошёл тихо и умиротворённо ранним утром. В это время, слава Богу, шофёры набирали воду из первухинского колодца. Скрипел печально журавель. Умер Иван Сидорович под эту родную музыку. А ещё написали, что антоньевцы сгношили, собрали кое-какие деньжата, наняли шабашников и подремонтировали сруб колодца, укрепили подгнивший журавель. Нельзя антоньевцам и проезжим без колодца — слишком вкусная вода в нём, не чета водопроводной, как говорил с растяжкой Иван Сидорович — «целебная вода»...

ПОДСОЛНЕЧНЫЕ КОНИ

В Енисейске я не видел огородов без подсолнухов.

Огород без подсолнухов — не огород, а что-то вроде ущербной картины, в которой художник из-за слабого таланта не нанёс главные и тайные мазки, делающие картину яркой и неповторимой. Вот почему по весне я тоже первым

делом на окраинах дачного участка, на меже, высаживаю подсолнухи. Когда цветут они, то кажется, что спустились с неба звёзды и горят ровным и немеркнувшим светом...

Зрелостью подсолнухи наливаются медленно, не спеша, от сытой тяжести склоняют они медные головы к земле и перестают следить за солнцем.

Я срезаю головки подсолнухов ножом и укладываю их на солнечном скате крыши до полного «дозрева», а вечером сажусь на крылечко и лужгаю семечки. Могу сидеть так и час, и два, потому что в этот момент голова моя переполнена воспоминаниями.

Видятся мне старый отцовский дом, завалинка, а на ней чинно, рядом сидят наши соседи, щёлкают семечки и судачат «про жизнь», которой, как я сейчас понимаю, у них не было...

Подходила к женщинам полоумная Жаричиха, она недавно работала в колхозе «Память Кирова». В разгар войны наградили её за труд кирзовыми сапогами. Большинству женщин, в том числе и моей матери, вручили тогда бронзовые медали. Так вот Жаричихе повезло! Увидев Жаричиху, женщины отворачивались и вздыхали, вытирали слёзы кончиками платков.

— Моих-то не видели? — тихо спрашивала Жаричиха и смотрела вопросительно на женщин заплаканными до желтизны глазами. — Говорила же сорванцам, чтобы не уходили далеко от избы. Прямо напасть, какие уросливые...

У Жаричихи пятеро сыновей погибло на войне, и вот теперь, в послевоенное время, она всё ищет их по Антоньевке весь день, а поздним вечером, когда солнце садится за гору Караульную, выходит на крыльцо, зовёт хриплым сухим голосом:

— Ванюшка! Петька-а-а! Васька-а-а! Серёжа-а-а! Кириллушка-а-а! Откликнитесь! Куда вы попрятались, ослушники?.. Ужин стынет!..

А ещё бывают «химические» семечки... Это те, которые в молочном возрасте имеют тёмно-фиолетовый цвет. Мы их парили в чугунках, а отвар использовали как чернила. Проверит наш учитель Пётр Иванович домашнее задание, а через два-три дня чернила выцветают. Пиши заново по этому же месту сочинение на тему «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Очень недолговечные черни-

ла, а это так хорошо, потому что тетрадки в то время были на вес золота...

А дудки — былки подсолнечные! Сколько радости они нам приносили! Осенью, когда огород был убран, мы строили из былок великолепные индейские вигвамы, а рядом в кострах пекли картошку. А какие тогда под нами были «кони» — горячие и необузданные! Сядешь на подсолнечную былку верхом, шапку набекрень, шашку наголо, и сам чёрт тебе не брат!

Нет, нет, вспоминать не буду, потому что заболело и заныло сердце. Как быстро летит время!..

В этом году подсолнухи на моём огороде вымахали под крышу. Лето, сами знаете, выдалось пасмурное, дождливое — вот и тянулись подсолнухи не по дням, а по часам к солнцу, дурели от избытка влаги. А вот сами подсолнечные шапки выросли маленькие, с детский кулачок.

Жена ругается:

— Сосут зря землю, затемнили грядки. Вырви ты их...

Я отмалчиваюсь, а сам думаю: «Хоть и неурожайные нынче подсолнухи, зато вон какие высоченные. Из них вигвамы что надо выйдут! А кони?! Какая сила! Плюну на всё да взнуздаю самую высокую былку, вцеплюсь руками в шелковистую гриву и помчусь с гиканьем по пыльной дороге среди дачных домиков. Голубые искры высекут из дорожных булыжин подкованные калёным железом копыта. Буду мчаться, словно стрела, выпущенная из упругого лука...»

Но и на такой огнисто-пугливой лошади я всё равно не догоню детства...

ВОСПОМИНАНИЕ О МОЛОДОЙ КАРТОШКЕ

...Слава Богу, послевоенную зиму перезимовали и весну перебедевали...

И вот уже всю «хрумкаем» мышинными хвостиками морковки, и вот уже набиваем карманы стручками гороха. При ходьбе стручки поскрипывают, как деревянная нога у дяди Пети. Дядя Петя в деревню вернулся после войны из госпиталя. Его встречало всё село. Мы, ребятишки, с вос-

торгом смотрели на деревянную его ногу и жутко завидовали дяде Пете, потому что ни у кого из нас не было такой замечательной ноги.

Вечером в складчину гуляло село. Дядя Петя как-то по особому и очень красиво приплясывал настоящей ногой и пел под гармошку:

*«Хорошо тому живётся,
У кого одна нога —
Много обуви не трётся,
И портяночка одна...»*

Но про дядю Петю — так просто, к слову...

Пошла, пошла огородная мелочь — теперь нам сам чёрт не брат!

В середине июня на солнцепёках ближних увалов поспевает клубника. В наших местах она крупная, сочная, что сегодняшняя садовая, только вкусней и ароматней. Ходим мы за ягодами пацановской уличной ватагой. Все знают нашу улицу — она на окраине села. Это та самая улица, где жили плотник Гаенок, сапожник Тарасенок и бондарь Карпуха Зикунов. Я их никого не видел, потому что ушли они воевать, да так и не вернулись, заблудились в красивых городах Европы. Я знаю их только по песне, которую ещё долго после войны пели деревенские ребята. Была в этой песне строчка, она повторялась после каждого куплета, задорно, под свист: «Гуд, Гаенок, Тарасенок и Карпуха Зикунов».

У нашей улицы свой увал: чужие на него не ходят, иначе будут биты и изгнаны...

Вечером, объевшись клубникой до отрыжки, мы приходим домой и вываливаем содержимое из бидонов на некрашенный кухонный стол. Мы перебираем клубнику не спеша: мелкую — на сушку, а крупную, закатно зардевшуюся укладываем, отщипнув плодоножку, в большую глиняную чашку. Плодоножки не выбрасываем: они сушатся и добавляются — как компонент, как вкусовой «штрих» — в цветочный зимний чай.

И вот ягода рассортирована. Мать из подполья достаёт крынку с молоком. Она выливает холодное молоко в чашку. Тяжёлые ягоды нехотя всплывают вверх, словно разноцветные льдинки. Есть ли что на свете вкуснее спелой клубники с холодным молоком? Да, есть, но об этом позже...

Узорно ходят ягоды в чашке. А мы стараемся поймать деревянными ложками ягоды помельче, невзрачней (заела совесть), а самую крупную, сочную клубнику — так, между прочим — подгоняем незаметно к краю чашки, откуда черпает ароматную «похлёбку» мать. Она немедленно разгадывает нашу хитрость и круто мешает молоко. Кружится клубника в чашке, как в пенной речной круговерти. Какая попала в ложку — та и твоя!

А мать, улыбаясь и вздыхая одновременно, говорит:

— Добытки вы мои голоштаные...

Едим без хлеба. Откуда хлеб в деревне в послевоенные годы? Только для праздников хранится немного муки в уголке огромного довоенного сусека. И у нашей матери было немного муки, но зато очень много трудодней. Да и не только у матери! У всех так.

Но главная радость, главная «вкуснятина» ждала нас в первые дни августа. Мы ждали этой вкуснятины с нетерпением...

...И вот мать с грядки приносит полный фартук шершавых, в знобких пупырышках, огурчиков, плюхает их в тазик с водой, моет. Потом кипятком ошпаривает ведёрный лагунок, яростно трёт бока его крапивой и черёмуховым голиком, а на самое дно лагунка бросает ветку смородины. Прямо на столе мелко-мелко крошила она укроп и чеснок, и запах в избе стоял густой и резкий, даже щипало глаза без привычки и слёзы катились по щекам. Огурцы мать втискивала в лагунок плотно — один к одному, и поблёскивали они зелёными влажными боками. Вывалив в лагунок приправу, она заливала огурцы рассолом и придавливала речным камнем. Камень обязательно брала в бане, потому что за долгую зиму он пропитался берёзовым духом.

Мы знали, что малосольные огурцы мать готовила не зря. Через день-два будет «пир на весь мир» в нашей старой избе...

И вот он, незабываемый миг!

Мы прибегаем с речки Слюденки усталые и продрогшие, а в центре стола уже стоят «малахольные» огурчики в той самой глиняной чашке, из которой мы ели клубнику. Садимся за стол, радостно поблёскивая глазами. Мать неторопливо подходит к печке и ухватом «выводит» из её жаркого нутра набыченный пузатый чугунок. Она сливает воду в коровье пойло и понарошку, притворно охая от жары, ста-

вит чугунок с молодой картошкой в центре стола. Пар идёт от картошки густой и ядрёный, даже на какое-то время запотевают оконные стёкла и черёмуха у окна мутнеет и расплывается зелёным туманом.

Мы сноровисто выхватываем из чугунка картошку, студим её, перекладывая с ладони на ладонь. Картошка по бокам растрескивается и чем-то напоминает мокрых, только что вылупившихся из яйца цыплят...

Нет, не смогу я описать вкус молодой картошки в голодные послевоенные годы... Перо бессильно!

Всякое было в жизни: перепали к моему столу деликатесы — красная икра, балыки и всякие вкусные блюда с мудрёными ненашенскими названиями. Ел с удовольствием. Но молодая картошка моего детства всё же была вкуснее...

Недавно накопал на огороде картошки, насолил «малахолок». Приготовил, пригласил за стол семью. Ели и похваливали. Но когда закончили ужин, сын спросил:

— И это всё?

— А что тебе ещё надо?

— Чего-нибудь вкусенького...

«Боже мой! Какие вкусы у сегодняшней детворы! — с горечью думал я. — Не вспомнит мой сын через десятки лет этого ужина, не вспомнит дымящуюся картошку и хрустящие огурцы, пропитанные запахом укропа и чеснока. Что ж, не виноват он в этом. В кухонном буфете всегда есть сладости, а в холодильнике полно магазинной снеди... Мой сын не знает, что такое лебеда, отработанная сыворотка с сырзавода, «мерзавчики» — оладьи из мёрзлой картошки. И не надо этого знать!»

И всё же мне кажется, что наше детство было богаче, потому что картошка была вкуснее, молоко гуще и вода мокрее... Картошка нас подняла и взрастила...

С августа до весны мы спать ложились сытыми и летали во сне над землёй, раскинув, как лёгкие крылья, тонкие руки...

КОСТЯНИЧНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Мать, провозжая на фронт в сорок первом своих сыновей и моих родных братьев Николая и Фёдора, точно знала,

что мы победим, потому что осенью, когда немцы рвались к Москве, она закопала в саду под черёмухой бутылку костяничного вина...

— Это — вино победы, выпьем его, когда вернутся в дом Фёдор и Николай...

Фёдор не вернулся, канул без весточки в не нужной ни нам, ни ему Европе, а краснофлотец Николай пришёл в сорок пятом, но не навсегда, а в отпуск. На руках у него было предписание — после отпуска выехать во Владивосток. Страна готовилась к войне с Японией. Флотский минёр Николай, прошедший всю войну на морском охотнике, был нужен ещё Родине...

На встречу сына мать выкопала из-под черёмухи бутылку с костяничной выдержанной настойкой. Пришли родня и соседи, друг брата с детства — оставивший на войне ногу дядя Гнат. Вино разлили по стаканам, один стакан, укрыв кусочком хлеба, налили для Фёдора...

Даже мне, малолетке, поскрёбышу, плеснули в ложку глоток напитка. божественный и весёлый вкус: от терпкого вина исходил не только аромат лесной костяники, но и запах талых листьев, черёмухового цвета, снега и земли. За четыре года выдержки самые лучшие, самые тонкие запахи вобрала в себя костяничная настойка. Ни одно из вин, которые я пил в жизни, не смогло бы приблизиться к материнскому вину победы ни по вкусу, ни по аромату, ни по алому цвету с какой-то загадочной изморозью. Это было не вино, а солнечная утренняя заря, которая взошла тогда над Отчизной и над поредевшим от пуль и голода, но счастливым народом...

Вино ударило мне в голову, я почувствовал необычайную лёгкость в теле, казалось, что сейчас поднимусь, как птица, в синее небо и полечу над миром, над ликующей страной...

А за столом запели песни, широкие, как русские просторы, песни, которые сейчас не поют, потому что у каждого времени свои гимны...

К костяничному вину брата Фёдора никто не притронулся. Мать поставила стакан на полочку рядом с иконами.

— Это Фёдору. Где он, жив ли или сложил свою буйную голову — один Бог знает. Пусть выпьет Господь или за здравие, или за упокой...

КУКУШКА

Если хочешь узнать, сколько тебе осталось жить, иди в забоку ранним летним утром, когда роса ещё лежит на траве и клочки седого тумана не ушли с речных плёсов. Там, в забоке, живёт добрая гадалка, и говорит она только правду.

Видишь, я сегодня бодр и жизнерадостен. Наворожила мне гадалка, что проживу ещё двести лет. Я не могу ей не верить — мне на самом деле хочется жить долго, чтобы видеть эту землю, слушать пение птиц и ветра.

Не ленись, вставай пораньше, иди в забоку, и гадалка наворочит тебе столько же. Она любит ранних людей...

ЛЕСНАЯ АРФА

Ещё в молодости раздвоилась сосна, и стволы её, плавно изогнувшись, образовали лесную арфу. Стоит она на бутре, туго натянув сухие струны. Сел я на пенёк послушать мелодию леса. Увидев меня, ветер прикоснулся сильными пальцами к натянутым струнам. И сразу в небе зазвенели листвой берёзы, глухо зашумели сосны, заплакал на дальнем лесном болоте чибис. Взметнул седой шевелюрой ветер, и поплыли надо мной чёрные тучи. Они клубились словно живые, и вот по полям, по рощам, по лесным пригоркам ударили капли дождя. Я спрятался под раскидистой берёзой.

— А-а! Струсил? — захохотал ветер.

И сразу же ливень укутал землю. От его тяжести гнулись ветки деревьев, и лёгким паром дышала земля.

Но иссякли силы у ветра. Он в последний раз прикоснулся к струнам и положил на них усталую голову.

И закончился ливень, оцепенели деревья. Стало тихо в лесу. Только слышно, как перекачиваются дождевые капли с листка на листок и глухо падают на мокрую землю...

ГРИБЫ БАБЬЕГО ЛЕТА

В это время года лето и осень легко уживаются вместе, идут по лесу «рука об руку». Иной день на лесных полянах гостит по-летнему жаркое солнце, но стоит только войти в тень деревьев — и сразу же повеет на тебя от хвойного настила осенней стынью.

А за Журавлинкой, на старом болоте, стойко держатся туманы, по утрам закрайки луж покрываются тонкой ледяной плёнкой. Сюда, в болотное разнолесье, в сентябре стайками сбегаются юркие опята. Неопытному грибнику трудно найти их среди жёлтой опавшей листвы. Вот на низком пенёчке притаилась семейка грибов. Я осторожно снимаю их с пенёка и укладываю в корзину. Опята попискивают, как живые, и мне кажется, что они сейчас выпорхнут из корзины и разбегутся по разнолесью, словно испуганные птенцы. Я накрываю грибы увядшим листом лопуха и иду дальше по просторному тихому бору.

На солнцепёках ещё встречаются маслята. Поздние маслята всегда крепки, упруги, без червоточинки. И шляпка у них не коричневая, как летом, а белесоватая, как бы покрыта лёгкой изморозью.

На крутом склоне Журавлинки под настилом хвои удалось мне найти около десятка сухих груздей. Эти грибы хороши в засоле и не меняют при этом свой белый, с розовым отливом, цвет.

Как-то в начале августа я набрал полную корзину сухих груздей. Дома я высыпал их в тазик, промыл в воде.

— Как поросятки! — увидев грибы, воскликнул мой шестилетний сынишка.

С тех пор я незаметно для себя стал называть грузди «поросятками».

К моей великой радости, «поросятки» оказались в этот день не последней добычей. Уже на выходе из бора по задворью последнего кордона наткнулся я на колонию рядовки. Не знаю почему, но грибники рядовку не берут. Хотя это довольно вкусный гриб: его жарят, варят, солят. Да и по красоте рядовка не уступит любому испытанному грибу. Шляпка у рядовки буровато-серая с лучистыми полосками, мякоть белая, с лёгким запахом сыроватого хлеба...

Домой я шёл довольный — корзина была полна. Паутины бабьего лета, раскалённые лучами тёплого солнца, как продолговатые искры осеннего костра, скользили по воздуху. Берёзы, осины, редкие тополя стояли ещё в густом листе, а «поздний листопад — мягкая зима», как издревле замечено в народе.

В ПОИСКАХ ВЕРЫ

Я верил в Бога...

Я верил, что есть Он где-то за дальним горизонтом, и Ему подвластны звёзды, что бесшумно ходят в ночном небе, и наши души открыты перед Богом настезь, и не скрыть от Него даже малейший грех. Я был убеждён, что солнце всходит и заходит по его прямому указанию, потому что нельзя без этого людям: не будешь без смены дня и ночи знать, когда тебе спать, а когда бодрствовать. И грозовые тучи из небесного «гнилого угла», что расположен как раз в ущелье за горой Караульной, отправляет на деревню и на огороды Он, наш всеильный повелитель...

Грозы в наших местах приходят внезапно: замирает вдруг на короткое время природа, жуткая тишина охватывает деревню — не лают собаки, не поют птицы. Лиловая туча, барахтаясь, словно живая, выплывает из-за горы, она поглощает испуганное солнце, чернеет до жути на глазах, жёсткие молнии то и дело разрывают её на части, и гремит гром, заполняя густым гулом деревню, пойму Ануя, полевые овраги.

Не помню ни одного лета, чтобы у нас в предгорьях Алтая кого-нибудь не убило громом, именно громом, а не молнией, как убеждает сегодня нас наука. Молния — она где-то там, в клубящейся чёрной туче, её можно не видеть, если закрыть глаза и спрятаться под овчинный отцовский полушубок, а гром — он вездесущ, он врывается в каждый закуток избы, от него невозможно скрыться...

Гром убил молоденькую нашу учительницу со сказочным и редким именем — Алиса. Алиса Фёдоровна. Сидела она у окна и смотрела на улицу, и гром, явно по заданию Бога, выбрал именно её, чтобы забрать навсегда на небо... А мы

все были в неё влюблены: появилась она у нас в деревне из другого, городского мира, такого же загадочного и неведомого, как Божья обитель. Алиса Фёдоровна была улыбочива и белокура, с глубокими синими глазами, словно кто-то сорвал на поле ржи два василька и приклеил их на белое лицо учительницы. Не помню уже за что, за какое благое дело она однажды меня похвалила, погладила по моей рыжей взлохмаченной шевелюре. Я на всю жизнь оставил память об этой мимолётной ласке, потому что почувствовал трепет в душе и первый неясный зов непостижимой женской тайны, разгадать которую я не могу по сей день...

Хоронить Алису Фёдоровну увозили в город на колхозной полуторке. Попрощаться с учительницей пришло всё село. Она лежала в гробу с закрытыми глазами, такая же красивая, как и в жизни, и ветер играл вихрами её соломенных волос; казалась она мне спящей царевной: прикоснётся к ней добрый витязь — она откроет глаза, улыбнётся... Мне хотелось быть этим витязем, растолкать всех, броситься к Алисе Фёдоровне и прикоснуться к её прекрасному лицу... Но я не витязь из сказки, а обыкновенный сопливый деревенский пацан, и мне не дано такой сказочной тайной силы...

А Бог поступил неправильно. Неправильно, и всё! Ведь я верил Ему всем пылом доверчивого детского сердца, ведь Его — Бога — славят по всей земле колокола и рабски кланяются великие и убогие люди. Разве мало этого Ему для ублажения своей Божеской гордыни? Зачем он забрал к себе Алису Фёдоровну? Зачем? Неужели мало Ему нашей преданности и наших страданий? Зачем Он оставил без Алисы Фёдоровны свою убогую паству? Лучше бы забрал к себе нашу соседку бабушку Тарасенчиху. Она стара и скрипуча, как сухое дерево. Да вдобавок по-шпионски дерётся. Недавно, когда мы с братом Шуркой поинтересовались в её огороде морковкой, она на цыпочках подкралась к нам с тыла с палкой наперевес и прогулялась «инструментом» по нашим согнутым спинам. А морковка-то на её огороде была как мышиный хвостик. Вот ей-то, бабке, как раз и пора туда, на вечное поселение к Богу...

А может быть, просто-напросто Бог — эгоист и живёт вечно в райских кущах не для блага верящих в его непогрешимость людей, а ради себя? Ему, Богу, наверное, захо-

телось, чтобы Алиса Фёдоровна там, на небе, погладила своей нежной ладонью по его пропахшим ладаном волосам, и её прикосновение бросило Бога в дрожь, потому что власть женщины беспредельна — она выше власти Бога. Бог всемогущ, но и Ему иногда хочется ласки и, может быть, даже сладко всплакнуть, уткнувшись лицом в женские колени...

ЭХО

Где живёт эхо? У тихой ли лесной речки, в зарослях спелой рябины, или прячется, как белка, в зелёных кронах сосен, или бродит, словно леший, по мягкому мху и, приложив ладони к длинным ушам, слушает звуки леса?

Максимка не знает, где живёт эхо... Он только знает одно: оно где-то рядом, и только стоит ему крикнуть, как эхо отзовется, умножит его голос и понесёт над старыми соснами, над лесными полянами, повесит голос на сухое дерево в глубине бора...

А в осенние дни от порыва ветра сорвётся голос с ветки, зазвонит и пойдёт гулять по туманным бочагам, по берёзовым и сосновым разнолесьям.

Осенние листья украсят Максимкин голос прохладными венками, станцуют с ним разноцветное танго и спрячут до следующего лета на тёплый чердак лесной сторожки...

«ВЕСЁЛЫЕ КЛЮЧИ»

Название-то села какое!

«Весёлые ключи»...

Так и хочется повторять его неустанно, смаковать, как яркий поэтический образ...

«Весёлые ключи»... «Весёлые ключи»...

Село раскинулось на пригорке, и куда ни кинь взор — необъятная даль холмов и полей, по низинкам бунтует крепкий березняк, а вдали, за холмами — Саянские горы.

Умиротворением и спокойствием веет от этих просторов, от синего неоглядного неба, от белоствольных берёз. И

лучше не придумать названия для этого села. Да и люди здесь весёлые, улыбочивые, приветливые.

Захотелось пить.

Зашёл в первую попавшуюся избу: навстречу хозяйка — белозубая, остроглазая.

— Дай водицы, хозяйюшка.

Улыбаясь, вынесла она полный ковшик хлебного кваса, настоящего на смородиновом листе.

— Пей, мало будет — ещё налью...

У соседнего дома на скамейке сидит старик, глаза у него выцвели, как у столетнего беркута.

— Куда путь держишь? — спрашивает он меня запросто, как будто мы знакомы с ним много-много лет подряд.

— На трассу, попутку буду ловить, чтобы добраться до райцентра. А там на автобус — и домой, до Дивногорска...

— Не спеши — садись, покурим.

Старик достал кисет, угостил самосадам.

— Хоть и крепок, но пользителен. До печёнок продирает — не чета забугорным сигаретам. Трава...

— Хорошо-то у вас как здесь, — говорю я, присаживаясь рядом с дедом.

— Что хорошо, то хорошо, — легко соглашается старик.

— Пол-Европы во время войны прополз на брюхе, а лучше наших мест не встречал. Одним словом, «Весёлые ключи».

СВЯТАЯ ВОДА

За водой я хожу на Лиственку, в прорубь лесника Максимыча. На ночь Максимыч, чтобы не покрылась вода коркой льда, укрывает прорубь сколоченной из досок крышкой, а поверх набрасывает свою отслужившую срок лесничью куртку. Утром он встаёт рано, чтобы наносить воды в банный бак, где греется вода для коров и мерина Рыжко.

За короткое время до рассвета в открытую настежь прорубь падают звёзды. Они сразу тонут и лежат на дне реки, не утратив своего света.

Я прихожу за водой после Максимыча, опускаюсь на колени перед чёрной и быстрой струёй и стараюсь поймать ведром хотя бы одну угасающую звезду. Потом с полным

ведром воды и звёзд поднимаюсь по деревянной лестнице к сторожке лесника. Он готовит пойло для коров, размещивая в подогретой воде отруби.

— Вода в Лиственке святая, — говорит Максимыч, затягиваясь «Беломором». — В морозы её нужно брать до 12 часов дня, потому что нет в ней никаких микробов и она может стоять неделями без порчи. Особенно полезительна вода в Крещение.

В своём дачном домике я грею чай из только что принесённой из проруби «святой воды». Чай получается вкусный, пахучий и отдаёт запахом свежей речной рыбы и мороза. Я пью божественный напиток из железной кружки торжественно и долго, и кажется мне, что в руках у меня не кружка, а ковш Большой Медведицы.

ЗВУЧНЫЙ ИНЕЙ

На короткое время обессилели морозы, и от промоин на Лиственке идёт лёгкий парок, как будто прямо в реке, на быстрянке, кто-то топит баню. От берёзы, что стоит над рекой, исходит запах распаренного банного веника. Деревья и ветки, торчащие из снега, покрыты густым и льдистым инеем. Так и хочется наломать букет из веток и осторожно, чтобы сохранить иней, принести его домой и подарить любимой женщине. Но только прикоснёшься к ветке, как иней осыпается и звенит, словно струны гитары, когда перед игрой её настраивают на музыку мастер.

Снегири прилетели из леса и сели гурьбой на ветку ветлы, что стоит рядом со сторожкой Максимыча.

— Красавицы, — кивнул Максимыч в сторону снегирей. — Прямо не птицы, а яблоки-антоновки. Вот бы на герб страны эту птицу — она поистине украшение России...

Максимыч тяжело вздохнул и посмотрел вдаль, где над верхушками сосен небо отливало синью. Внезапный ветер вырвался из ущелья, подлетел к сторожке, к ветле, где только что сидели красногрудые птицы, изумлённо поднял над снежной поляной звонкий иней, он заиграл волшебную музыку, под которую так и хочется запеть хорошую песню...

АРОМАТ УШЕДШЕГО ЛЕТА

Когда я прохожу мимо сторожки Максимыча, он обязательно зазывает меня на чай. Чай Максимыч готовит из местных трав — специально ходит на горную гриву, где у него покосы, за белоголовником, душицей, кипреем и смородиновым листом.

— На гриве земля первозданная, сытая от ила и вековой прелости палых листьев. Отдаёт она всю свою живительную силу травам, вот и чай получается целебный и ароматный. Не грех самых дорогих гостей потчевать, — говорит Максимыч, разливая по стаканам ароматный напиток.

Я пью чай и вижу себя пацаном: бегу босиком по росной деревенской поскотине, гоню корову Марту в стадо и слушаю, задыхаясь от восторга, пенье ранних птиц. Облака, подсвеченные восходящим солнцем, плывут за горизонт, туда, где идёт война. Оттуда, из-за горизонта, недавно вернулся домой мой дядя Гнат, с деревянной ногой, которая скрипела при ходьбе, как колодезный журавель...

А Максимыч знай подливает чай да подаёт к нему мягкие белые булочки, испечённые хозяйкой Лидией Павловной.

— Квартира у меня в Дивногорске, — говорит Максимыч. — Приду иной раз, переночую — и опять сюда. Скучно мне в городе, дури по телевизору гонят столько, что хоть святых выноси. А здесь простор, чистота. Душа поёт...

Я искренне завидую Максимычу. Он счастлив в своей простой, нехитрой жизни. Под семьдесят лет мужику, а глаза блестят удивлением и жаждой видеть доброту в каждой белке, в шуме речки Лиственки, в запахе сухого сена в пристройке, в дрожащих мокрых ноздрях мерина Рыжко, в снегирах, висящих, словно яблоки, на ветке ветлы.

— Наливай ещё, — говорю Максимычу. — Наливай...

Мне не хочется уходить от гостеприимного хозяина, из его скромной избы, заполненной ароматом ушедшего лета.

СОРОЧЬИ ГНЁЗДА

Хорошо помню: в этой роще я нынче осенью собирал гурзди с терпким запахом прелых листьев.

В последний раз я приходил сюда в предзимье, когда по низинкам прощались первые заморозки и листья у деревьев стали звонкими, как фольга.

Грибов я не набрал и забросил с досады на дерево свою старую корзину из ивовых прутьев...

И вот сейчас, зимой, хожу и ищу лукошко по всему острову, заглядываю на вершину каждого дерева. Нет его — чужие висят на ветках «корзины»: их повесили на деревьях белобокие птицы...

РУЧЕЙ В ДУДКЕ БОРЩЕВИКА

Шумливый по весне ручей иссяк, истомился и спрятался в зарослях папоротника-орляка и борщевика. Только маленькие, в ладонь, бочажинки сохранились между камней, но пить из них — рисковать здоровьем. А пить хотелось страшно: иссохший язык шуршал во рту, словно наждачная бумага. Иду выше по ручью в надежде найти струйку чистой, незастойной воды. И вот рядом с заросшей дорогой, по которой лесник Максимыч возит с дальних лугов сено для своих коров, услышал я слабый, словно комариный писк, шум текущей струйки. Подошёл ближе: какой-то добрый и мудрый человек из камушков и песка соорудил небольшую запруду и вставил в неё дудку борщевика. Вода скапливалась в запруде и тоненькой золотистой струйкой сочилась из полого ствола таёжного растения. Она была холодна и прозрачна, словно слеза ребёнка. А рядом на булыжнике лежала удобная ёмкость, и тоже из борщевика. Обрезал неизвестный мне добрый путник под самый корень дудку, где у борщевика есть донышко, и получился лёгкий изящный «фужер», из которого можно пить не только воду, но и шампанское.

Я подставил «фужер» под струйку, набрал прохладной воды и жадно пил лесной напиток, настоящий на августовских спелых росах и на терпкости борщевика. Не пил я ничего вкуснее в жизни. Набрал в путь фляжку родниковой воды и, уходя от источника, сказал громко и для себя, и для леса:

— Спасибо, добрый человек!

ШАШЛЫКИ ИЗ ОБАБКОВ

Чтобы вспомнить добрым словом грибные походы, глубину небесной синевы в проёмах доверчивых сосен, вспышки поспевающих рябин на полянах, обязательно приготовьте грибные шашлыки. Для этого из дома захватите с собой в лес кусочек сала, спелые помидоры, головку лука и солидный шмат чёрного хлеба. Ну, а если хотите, не повредит вам щепотка любимых специй. Я сам противник этих добавок, потому что они убивают в грибных шашлыках тот особый аромат, который исходит от лесного блюда. Сами грибы — чудо природы, потому что впитывали они в себя прохладу августовской зари, прель опадающих листьев и еле ощутимый полёт праздничной грусти, когда знаешь, что лето уходит из наших лесов надолго вместе со светящимися под солнцем тонкими паутинками, которые напоминают следы далёких реактивных самолётов.

Для шашлыков на галечнике ручья или реки разведите небольшой костёр, найдите свежие тонкие прутики ивы и на низывайте на них подготовленные, порезанные пластиками продукты. Делайте это не спеша, без суеты, потому что сам процесс подготовки к лесной трапезе — истинное наслаждение. Порядок прост: пластик гриба, сала, помидора, лука и так далее. Не забудьте посолить эту цветную «радугу», прежде чем уложить её на затухающие угли костра. Я применяю для грибных шашлыков рыжики, подъяловники, белые грибы и даже сыроежки, которые отдают лёгкой горчинкой. Но больше всего мне нравятся шашлыки из мясистых, жирных обабков. Напоминают они по вкусу лёгкое рагу из молодой телятины с обволаживающим привкусом дымной опалинки.

Теперь разложите шашлыки на газету, а лучше всего на прихваченное из дома льняное полотенце и, так сказать, наливайте... Сейчас я наливаю для себя в стакан воду из родника. А было когда-то по-другому. Какие мы развесёлые гулянки устраивали под лесные шашлыки с друзьями, сколько под них было перепето песен, сколько раздарено поцелуев прекрасным спутницам наших кутежей! Не хочу травить сердце воспоминаниями.

На днях на каменистом острове Лиственки устроил себе грибной праздник. И не один я был на угощении, я ощущал,

что рядом со мной друзья молодости. Просто они ушли с подругами в лес и вот-вот вернутся к костру. И будут их губы от жарких поцелуев такие же спелые и алые, как гроздья рябины, стоящей на берегу таёжной речки. И вдруг заметил, что плачу. Но это были лёгкие слёзы радости, они не отягощали печалью моего сердца.

КАЛИНА КРАСНАЯ

У нас в деревне жил мужик по прозвищу Калина. Красный весь кожей, с какими-то пегими пятнами на шее. Ох, и не любил он своего прозвища!

— Хочешь пирожок? — предлагал кто-нибудь из нас, пацанов, мужику, а остальная кодла, заранее сговорившись, кричала хором:

— С калиной-малиной...

Выходил мужик из себя. Прямо-таки зверел. У меня плечо долго болело. Это Калина вдогонку булыжником съездила...

А зря мужик психовал, обижался на прозвище. Я считаю, что нет ничего прекраснее калины в наших сибирских перелесках. Цветёт калина поздно, когда почти все растения отцвели. Издалека похожи кисти калины на сугробы мягкого ноздреватого снега. Так и хочется в жаркий день подойти к цветущей калине и запустить горячие руки в снежную и резкую прохладу...

А поздней осенью назовите кустарник краше калины!

Идёшь по лесу — и вдруг замираешь в удивлении: что это за свечение идёт из синей лесной глубины? Утренняя заря, что ли, не успела вспорхнуть в небо и спряталась в затенении от людского взора?

Нет, калина это! Кличет к себе ярким светом: иди, дескать, бери горстями спелую ягоду. Только не ленись. Зимой будет тебе начинка для пирогов — лучше и не надо! А если прокрутишь ягоды на мясорубке да добавишь сахара, то этого так называемого витамина С с лихвой тебе до самой весны хватит. Есть любители варенья, компота, сиропа из калины.

Я как-то в Ярцево у лесника Андрея Андреевича пил калиновую настойку. приятный напиток, доложу вам, рез-

кий, с горчинкой. А цвет! Янтарь янтарём. Капризным английским лордам на стол подавай — будут пить, языками от удовольствия прищёлкивать, добавки требовать.

У меня на участке два куста калины, цвела она в этом году буйно, сугробисто. Нельзя было глаз оторвать от красоты неопишуемой. А проходить возле куста без жены вообще опасно. Как бы того... глупость какую не выкинуть. Не даром в народе зовут калину «красной девицей». Пахнет калина при цветении тончайшими французскими духами, какие у нас в парфюмерных магазинах по диким ценам продают... Перепутаешь калину с красоткой да и ляпнешь о любви по-французски что-то вроде: наше вам с кисточкой... А я по-французски, честно говоря, ни бельмеса...

Вот я и говорю: зря наш деревенский мужик обижался на прозвище Калина и булыжником мне плечо зашиб. Гордиться бы надо таким прозвищем!

УГОЩАЮ РЯБИНОВЫМ ВИНОМ

Не знаю, как в других местах Красноярья, а у нас под Дивногорском, над речкой Лиственкой, где у меня огородный участок, рябина в этом году уродилась на славу. Буквально гнутся ветки от обилия янтарных ягод. Тем более что собираю я рябину всегда поздно — в ноябре-декабре.

Морозец поработал с ней как следует и выморозил всю горечь. В народе примечают: рясная рябина — к холодной зиме. Пусть будет так. Но для меня высокий урожай рябины — в радость. Знать, будет на моём столе всю зиму рябиновое вино, которое приносит веселье в сердце в долгие зимние вечера.

Рецепт приготовления рябинового вина прост: заполните толчёной ягодой одну треть бутылки (у меня бутылка десятилитровая), залейте кипячёной охлаждённой водой и добавьте сахару. И пусть стоит, гуляет. Самое сложное в этом процессе — вносить в вино сахар: здесь нельзя переборщить — вино будет приторно-сладким, а не доложишь — может вместо вина получиться уксус. Вот здесь-то нужны домашнему виноделу опыт, сноровка, чутьё, что приходит со временем.

Рябину перед закладкой в бутылку не надо мыть. Винная «закваска» у ягоды на оболочке, на поверхности. Во время созревания вина я его постоянно дегустирую, проверяю на вкус и крепость. Мало сахара — подживляю им настойку. Недели через две проверяю на игру красок — наливаю в фужер и смотрю на свет, переливаются ли в нём мелкой изморозью солнечные лучи.

Настоящий винодел оставит в рябиновке небольшую горчинку, которая придаёт своеобразный шарм напитку. А главное — нужно делать вино с хорошим настроением, ведь рябиновка — живой организм, а потому чутко на ваш характер реагирует. Созревшее вино для поднятия градуса разлейте в бутылки и уложите плашмя в погребок. Короче говоря, изготовление вина сродни поэтическому поиску: чем талантливей творец, тем крепче произведение.

Неудобно хвастаться, но моё вино всегда пользовалось заслуженным признанием гостей. Как-то был у меня в доме гражданин Германии Питер. Весёлый, добродушный бюргер, хорошо владеющий русским языком. Принёс он бутылку какого-то дорогущего сухого вина. Выпили по фужеру — ни рыба ни мясо, сплошная кислота. Тогда я достал из подполья своей доморощенной рябиновки. Пил моё изделие Питер мелкими глоточками, крякал от удовольствия, закатывал глаза от блаженства. А когда я ему сказал, что это вино — обыкновенная «самоделка» из рябины, он пришёл в полный восторг...

Посидели, мирно поговорили. Питер вскоре уехал к себе в Германию, прихватив с собой русскую жену — миловидную дивногорку Галину. Короче, зачем приезжал, с тем и уехал. Тогда была мода у зарубежных господ на русских жён.

Но внезапно получаю от него письмо аж из Австралии, куда Питер уехал на постоянное место жительства вместе с Галиной. Спрашивает Питер рецепт моего вина. Мне, конечно, не жалко. Обсказал ему подробно технологию изготовления напитка, добавив, что я не очень уверен, что хорошее вино можно получить из плодов капиталистического кустарника. Вкус нашему вину дают морозы, солнце и наша щедрая сибирская земля. Но подбодрил: ищи, дескать, рискуй, действуй... Больше Питер не писал, не знаю, получили ли он из австралийских ягод хорошее вино. Скорее всего, нет...

А как пил моё вино Иван Иванович Кирьянов, царство ему небесное! Ивана Ивановича знают многие, поскольку он долгое время работал в газете «Красноярский рабочий», а затем — в «Красноярских профсоюзах». Я частенько завозил ему бутылочку изделия. Боже, как он красиво пил мою рябиновку! Нальёт в фужер, посмотрит на свет, отопьёт маленький глоточек, причмокнет языком, ласково на меня посмотрит: «Маэстро, ей-богу, маэстро. Музыка, а не вино. Симфония...»

Я с удовольствием слушал его комплименты — какому мастеру не хочется хороших отзывов о своей работе. Слушал, а сам самокритично думал: «Заливаешь, Иван Иванович. Знаю, что ты хороший человек и просто не хочешь меня обидеть». Хоть и сомневался в искренности Кирьянова, но всё равно было приятно. И носил ему ещё и ещё рябиновки, чтобы послушать праведные или неправедные комплименты. Все мы, ей-богу, падки на ласковое слово.

МАРТОВСКАЯ МЕТЕЛЬ

Зима в этом году выдалась на удивление тёплой. Приотстала в дороге метелица и только в начале марта добралась до посёлка. Белым рукавом смахнула с карниза моего дома снег и припрятала его до полного тепла в затишье плетня. Потом заглянула в окно и постучала тонким пальцем в стекло.

— Я пришла, я пришла, — засмеялась она. — Не ждали?

Метелица отскочила от окна и застучала мёрзлыми каблучками по железному скату крыши, озорно свистнула в печную трубу и легко спрыгнула с высоты в сугроб.

— Замету, замету, замету, — зашумела она радостно и стрелой помчалась по улице посёлка.

Я накинул полушубок на плечи, взял вёдра и коромысло и пошёл по воду.

Бледная луна плыла по небу, как расплывшееся облачко, и напряжённо гудели над головой провода.

Метелица подбежала ко мне, пригрозила:

— Не ходи... Заблужу, заведу, запорошу...

— Не из пугливых, — ответил я. — Мне хорошо знакома тропа к реке...

Я сквозь колючие порывы ветра спустился вниз по прибрежной лестнице, дошёл до речной проруби и набрал полные вёдра воды.

Метелица шумела и бесновалась и с хохотом бросала в меня белые хлопья снега.

Я с трудом дошёл до крыльца своего дома.

— А ты смелый! — засмеялась метелица. — Вот тебе за это гостинец.

И метелица бросила полную пригоршню снега мне за шиворот.

— Ты с кем играл в снежки? — спросил сын, когда я вошёл в дом.

— С метелицей.

— Хитрый... Тебе-то весело, а меня сегодня не пускаешь на улицу.

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ

В этом году зиму и зимой-то назвать стыдно. Крепких, ярых морозов практически и не было. В городе порой забывали, что такое снег, а на солнечных склонах газонов в марте даже проклюнулась первая зелень. Но стоит отъехать от Красноярска — и сразу другой мир. Снег в лесу яркий — спит от солнца глаза, «размаслило» его от тепла, но по утрам он крепок, звучен.

На днях над нашими дачами волной прошёл густой и липкий снег. Промоины на речке Лиственке чернели, как огромные куски антрацита, и шёл от промоин лёгкий парок с серебристым отблеском инея. На деревьях повисли густые белые хлопья. Красотой уходящей зимы наградила меня прогулка на дачный участок.

Однако к обеду вошло солнце, по-весеннему ласковое и тёплое, и снег с веток начал дружно срываться, падать на наст с лёгким шумом. С крыши дачи «запела» капель, как будто кто-то бил в маленькие и звучные барабанчики. Загомонили синицы, воробьи парами начали искать места для гнездовий, заворковали голуби. Две сороки пролетели и скрылись в ближайшем перелеске.

Но не гомоните, птицы — весна-красна, как девица на выданье, обманчива. Будут ещё и холода, и капели.

В СИНЕВЕ БОРА

Как он оказался здесь, в тёмной глубине бора, знает один Бог. Издалека напоминает лесной камень старого беркута с низко опущенными крыльями. С северной стороны оброс он влажным зелёным мхом, а с южной — почернел от лучей солнца и давних лесных пожаров.

Я частый гость у этого камня, потому что вокруг него в шелковистой траве прячутся сытые, губастые сырые грузди. Я ищу их и осторожно укладываю в свою корзину. А когда отяжелевшая корзина наполняется до краёв, сажусь и отдыхаю на лесном камне, и грустные мысли, словно шум ветра, приходят и садятся рядом со мной.

Я думаю, что через много-много лет, когда меня уже не будет, придёт сюда мой внук или правнук, и к нему сойдёт такая же грусть. Потому что не может быть иного чувства рядом с этим вечным камнем, заброшенным неизвестной силой в синюю глубь леса.

НЕ ЗРЯ ЖИЛА

Присел отдохнуть на пенёк, а рядом другой — трухлявый, изъеденный червями и жучком-древоточцем. И вдруг подумалось: а ведь это когда-то была могучая сосна, и ветры, и дожди ей были знакомы. А вот теперь — прах, наступи — и останется под ногой только горстка серых, как пыль, опилок.

Но не зря жило могучее дерево, это видно по молодому и крепкому подросту, который радостно шумел вокруг пня, вонзив в небо острые иголки.

НАХОДЧИВАЯ СОСНА

Тополь срубили давно. Сердцевина пня подгнила, разрыхлилась, ветра занесли сюда частицы почвы, и превратился он в лесную вазу с крепкими окаменевшими стенками.

Однажды упало в эту почву семя сосны, и выросло в центре пня молодое деревце. Тянется сосенка к солнцу, ра-

дуется ветрам и грибным дождям и удивляет любителей лесных прогулок своей находчивостью.

РУЧЕЙ

Весной здесь бушевал поток воды. Он шумно и растрёпанно летел по логу и хулиганисто врвался в горячую речку Лиственку...

А сейчас, в августе, остались только еле заметные следы былой силы и удали — мокрота в буйной траве да тонкие подтёки в расщелинах камней.

Я захотел пить и поднялся далеко вверх, чтобы найти чистый бочажок с водой. Но негде напиться: там, где держалась когда-то вода, остались только сухие листья да змеились корни деревьев.

И только в одном месте, где всё вокруг было утоптанно грибниками, какой-то добрый человек догадался пустить остатки ручья в отрезок водопроводной трубы. Лилась из неё прозрачная робкая струйка, как из кухонного крана.

Я наклонился к трубе. Минуты две вбирал в себя жалкие остатки ещё недавно бурного потока. Напившись, я слез на валун, и непонятная грусть обожгла сердце. Пришли на память печальные слова Саади:

«У этого источника многие, как мы, отдыхали и ушли, чтобы навек сомкнуть свои очи...»

ДЯТЕЛ-МУЗЫКАНТ

Мы идём с сыном по пробуждающемуся лесу и слушаем загадочный шум сосен.

Откуда-то из глубины леса доносится протяжный звук, как будто кто-то настраивает басовую струну гитары. Звук то рассыпается по лесу, то затихает и снова набирает силу.

— Давай посмотрим, кто это играет в лесу на гитаре, — предлагает сын.

Мы осторожно приближаемся к высокой сосне, на вершине которой притаился загадочный музыкант.

Так вот кто нарушил безмолвие леса!

Чёрный дятел...

Зацепился он крепкими когтями за кору дерева и бьёт клювом в сухой пустотелый сук.

Ударит — и, гордо откинув голову, слушает, как летит густой звук от сосны к сосне и теряется где-то в глубине леса.

Мы долго наблюдали за дятлом-музыкантом, и наконец, не выдержав, сын хлопнул в ладони. Дятел укоризненно посмотрел вниз — кто это, дескать, мешает играть ему — и, нехотя взлетев, скрылся в синих просветах деревьев.

НАДЛОМИЛИСЬ КРЫЛЬЯ

Я помню: разбежались по поляне голубые ветреницы. Кажется, это было вчера. Я помню, на молодых сосенках горели от лучей солнца свечи побегов.

Мы не шли, а летели с тобой, как юные птицы, по лугу, и звёзды с неба падали на наши крылья. Мы догоняли друга друга в синеве неба и стремились подняться как можно выше, и воздух упруго бился в наши переполненные радостью лица...

Но недолго мы были в полёте. Однажды не выдержали крылья — подкосились от напряжения, и мы рухнули на усталую землю...

И вот один я иду по лесной поляне, понуро стоят ветреницы, словно седые старички, знобко съёжившись от прохладного ветра...

Где ты сейчас, я не знаю. Знаю одно — на надломленных крыльях далеко не улетишь; знаю, что в грустные минуты вспоминаешь голубые ветреницы на нашей поляне, потому что, как и прежде, не погасли свечи на молодых сосенках. Они, говорят, для новых влюблённых и для нашей памяти.

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

Лесная дорога петляет среди вековых стволов. На резком повороте у самой колеи стоит могучая сосна. Её ствол изранен бортами машин и бричек.

Терпеливо переносит сосна невзгоды и не переставая лечит свежие раны от машин прозрачной смолой.

Рядом, чуть в стороне от дороги, поднялась молодая поросль неокрепших сосенок. Старая сосна оберегает их покой, принимая на себя неосторожные удары. Её вековой ствол не даёт выпрямиться лесной дороге.

ПТИЧЬИ ПЕСНИ

Осенью я подсмотрел, как в дупле старого тополя птицы спрятали песни. Они укрыли их разноцветными листьями и улетели в тёплые, но не свои страны.

Зимой я часто приходил к тополи, снимал шапку и, приклонившись головой к корявому стволу, слушал, как грустно и тихо гудят во сне птичьи мелодии.

Весной мне недосуг было выбраться к тополи, и не укараулил я тот момент, когда птицы забрали из дупла свои песни. А зашёл в тополиную рощу — и вздрогнул от изумления: она вся, от земли до неба, была переполнена птичьим щебетом.

В том дупле, где зимовали птичьи песни, поселились скворцы. Они важно сидели на голых ветках и, не обращая на меня внимания, выводили невероятные рулады. В них слышались трель жаворонка и нехитрая свирель лесной пички. Я понял, что скворцы видели, как птицы разбирали из дупла песни, и от каждой взяли для своей брачной мелодии по маленькой дольке, по зёрнышку.

ЗИМНЯЯ ЯГОДА

Светлое небо широко висит над соснами. Зимний лес красив и просторен. Воздух холодный и густой: не дышишь, а ведь словно пьёшь ключевую воду и не можешь напиться.

Я иду по лесу с плетёной корзиной. Иду по ягоды, утопая по колено в мягком снегу. Недалеко от дачи, в горном распадке, над замолкшим до весенней оттепели ручьём отяжелели алыми гроздьями кусты рябины. Издалека кажется, что упала в лес случайная ночная звезда и разбилась на яркие искры.

Подхожу к рябине и наклоняю ветки. Лёгкая изморозь срывается вниз и медленно, нехотя падает на шапку, на лицо, на торчащие из снега чёрные былки засохшего борщевика.

Рябину брать по морозу — одно удовольствие: тяжёлые кисти не входят в ладонь, ягоды сочатся сквозь пальцы и алыми каплями падают в снег. Подмороженная рябина летит в корзину с тонким звоном, как будто внутрь каждой ягоды неведомый мастер вставил чуткие струны. Полчаса — и полна корзина. Будет сегодня на столе лакомство к чаю. Я обычно пропускаю рябину на мясорубке и добавляю сахар. Вкус кручёной ягоды неповторим. Резкий, ароматный, с загадочной горчинкой.

А какое удовольствие возвращаться из зимнего леса с последним и щедрым подарком прошедшего лета! Как будто несёшь не ягоды, а драгоценные бусы.

А если и замёрз немного, то не надо переживать. Вот за соснами показались голубые окошки дачи. Над крышей, не шелохнувшись, стоит синий столб дыма. Это ждут меня из леса и топят печку.

РАДУГА ИЗ СНЕГИРЕЙ И ДЫМА

Всё веселее наливается синью зимнее небо. Ночь по комариному шажку отступает, сдавая дню секунду за секундой, минуту за минутой. Рассветы стали смелее, ярче, прозрачнее. Дома и деревья стоят по утрам облитые инеем, и лёгкая пыль изморози окутала мир, как будто рассыпается на мелкие осколки уходящая за горизонт мёрзлая белая луна.

Снегири прилетели из леса и сели на тополь под моим окном: они то замирают неподвижно, сидят нахохлившись, то весело начинают порхать по веткам в ожидании восхода солнца. Вот первые лучи светила вырвались из-за горы, осветили деревья, дома, снегирей, заиграли искрами в густом инее.

«Ки-ки-ки!» — возбуждённо закричали снегири и дружно, словно танцуя, запрыгали с ветки на ветку. От трепета их лёгких крыльев осыпался иней, и от игры солнца и снега, словно ёлочные украшения, над тополем заиграли разноцветные маленькие радуги. Они, казалось, сотканы из нехитрых песен красногрудых птиц и солнечных лучей. Сне-

гири как бы говорили мне: как прекрасна зима, сколько в этой красоте тончайших оттенков, сколько поэзии и волшебства. Непроизвольно, как бы сами собой, пришли на память строчки Пушкина: «Мороз и солнце; день чудесный!»

Когда солнце поднялось чуть выше, расплывчатей стали тени и исчезли разноцветные радуги. Снегири снялись с тополя и улетели в окрестные леса, чтобы там в логах, на переломе света и тени, развешивать по деревьям маленькие зимние радуги. До того маленькие, что их можно сорвать и спрятать в кулаке.

ОДИНОКАЯ БЕРЁЗА

Зацепился за голый сук берёзы клочок душистого сена. Зарделась она, зашумела от радости.

Цепко держит берёза засушенный клевер и боится выпустить кусочки пахучего лета.

Но налетел холодный ветер, с досадой выхватил из рук сено и разметал его по лесу.

Зашумела берёза от гнева, кинулась вдогонку за обидчиком. Но он испуганно рванулся из леса в чистое поле. А ветер в поле догнать невозможно. Остановилась берёза и не хочет назад возвращаться.

Она караулит ветер, чтобы схватить его за седые кудри и оттрепать за то, что украл он у неё кусочек пахучего лета...

БЕЛЫЙ СНЕГ И АЛЫЕ ГРОЗДЬЯ РЯБИНЫ

Я люблю падающий снег...

В такие дни спешу на свой огородный участок, в свою маленькую и уютную избушку, где есть железная «буржуйка», стол, полка с книгами и мягкое «лежбище» для сна, а под настилом пола мирно шуршат мыши-полёвки.

Я разжигаю печь сухими дровами и готовлю чай на целебных травах. Потом наливаю чай в кружку и выхожу на открытую веранду любоваться снегом и слушать тишину. Чай пахнет цветущим июльским полем и напоминает о сы-

том лете. На душе становится легко и просто, как будто после долгих скитаний приехал в гости к доброй бабушке.

Снег падает ровно и бесшумно, он искрится, и гнутся от его тяжести ветки рябины. Тишина окрест такая, что лопит с непривычки в ушах. Вот возьму и наломаю букет рябины вместе с морожеными алыми гроздьями ягод, и принесу его в городской, лощёный уют квартиры. Смотрите, люди, какая красота живёт на свете, как горят рябиновые гроздья, словно алые зёрна янтаря, выброшенные на берег морским прибором, смотрите, какой чистый и непорочный снег в букете, словно взгляд ребёнка. Берегите, люди, как зеницу ока, эту красоту и на земле, и в своей душе. Без неё не может быть счастья! Наши земные беды: войны, обман, лихоимство — всё оттого, что мы проходим мимо красоты мира, которую даровали нам Бог и природа!

ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ

Наше садоводческое товарищество «Таёжное» находится в котловине, день и ночь шумит внизу речка Лиственка. Порой мне кажется: мы, садоводы, обитаем на дне озера, а вокруг нас растут не берёзы и сосны, а большие и мокрые водоросли. И оттого, что наши деляны находятся в глубине земли, отгорожены от электрического сияния недалёкого города горными кручами, звёзды над нами горят ровно и ярко и кажутся такими близкими, что протяни руку — и обожжёшься их острыми и горячими лучами.

Вышел я на веранду покурить и замер от удивления: сияла над головой огромная луна, а молодой шаловливый ветер гонялся в ночном небе за звёздами. Они звенели, как ледяные сосульки, срывались с вышины и, прочертив по небу яркий свет, падали в чёрную воду полыньи на реке Лиственке. Звёзды шипели в полынье, как раскалённое железо. Но не тронул шаловливый ветер Полярную звезду — она горела ярко и неподвижно на склоне неба. Горела долго — до самого рассвета. И я тогда подумал: пока горит Полярная звезда — этот маяк для потерпевших кораблекрушение — путь к причалам будет найден. По Полярной звезде и мы, и Россия в новом тысячелетии придём в благополучные бухты...

ОТЦОВСКИЕ ТОПОЛЯ

Тополя после Гражданской войны посадил на краю огорода мой отец.

— Пусть растут, пусть набираются сил...

Быстро и могуче поднялись деревья. Заслонили они избу от суховея, но не от горя...

В сорок третьем, зимой, пришла на отца похоронка...

За годы войны никто не притронулся к нашим деревьям, хотя топить было нечем и все деревья вокруг срубили. В яркий майский день пришла в деревню весть о Победе. Смеялись и плакали люди. Где-то на окраине запела гармошка, потом другая, третья... И вот уже на пустыре у конторы собрались люди.

— Речь говори, Пахомыч! — шумели все, обращаясь к председателю.

— А что говорить, граждане-колхозники? Что говорить? Вся страна ликует!.. Вот, смотрите, — Пахомыч ткнул кепкой в сторону нашей избы, над которой, как могучие богатыри, стояли, покрывшись первой зеленью, тополя. — Посмотрите, какие красавицы! Я вот что решил, граждане-колхозники, — продолжал председатель, — давайте у конторы разобьём сквер, а саженцы возьмём от Марьиных тополей...

Засветились радостью глаза матери.

Ровными рядами высадили колхозники черенки тополей. Дружно поднялись саженцы. А потом среди деревьев поставили памятник. Сняв каску, склонил голову солдат над гранитной плитой, на которой среди многих имён выбито имя моего отца...

А чуть в отдалении, над избой, шумят тополя. Они выше всех деревьев в округе.

ПЕТЬКИНА ЯБЛОНЯ

Вырубили старый сад и вспахали поле. Только одна яблонька осталась. В конце мая появляются на ней цветы. Стоит яблоня среди чёрного поля, как снежный ком, и свет от дерева не затухает даже ночью.

По пахоте пробил к яблоне тропинку седой старик. Он убрал сорняки из-под кроны, окопал дерево. Прошлый год я слышал, как ругал его агроном:

— Что ты посева губишь? Почему по полю ходишь?

Старик тихо оправдывался:

— Этот сад, сынок, я ещё до войны разбил. Одна вот яблонька осталась... Никого больше нет у меня...

В августе, когда ночные сумерки выползли из леса на поля, я снова увидел старика. Он стоял, облокотившись на палку, и его тяжёлая белая голова подрагивала. Я осторожно прошёл мимо. Глаза у старика были закрыты, и он говорил с яблоней скрипучим, как разошедшееся дерево, голосом:

— Помнишь Петьку? Ох, как он любил твои плоды. Сладкие ты их урожаяла... Погиб Петька под конец войны. Скоро и я туда же. Только бы не срубили тебя до моей смерти. Тогда и поговорить не с кем будет...

И в этом году яблоня осталась на прежнем месте и цвет набрала густой, и тропинка через поле по-прежнему идёт к ней. Видно, разрешил агроном беседовать деду со своим деревом...

«РУСЬ, ТЫ ВСЯ ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ...»

Давненько у нас не было таких бесшабашных морозов, когда кажется, что вот-вот обломятся ветки деревьев от обилия тяжёлого инея. Жжётся мороз, кусается, но не вызывает он у меня раздражения, а наоборот, любуюсь красотой окружающего мира и повторяю про себя великую строчку из стихотворения Велимира Хлебникова:

«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»

Прошла мимо меня стройная женщина, укутанная старинной оренбургской шалью, из шали, как чёрные птенцы, выглядывают шальные весёлые глаза. Судя по ним, она счастлива. А это так редко в наше время...

«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»

Я иду по набережной Енисея. Потрескивают от морозного перенапряжения ледяные закрайки, от незамерзающей струи реки исходит густой и сытый туман, он сразу же

стынет и опадает мелкими звенящими льдинками на землю, дома, деревья. Кажется, будто идёт мелкий дождь. И мороз пахнет не холодком, а поздними осенними маслятами.

«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»

Протока на Енисее замёрзла. Несмотря на холод, сидят тут и там «завёрнутые» в шубы и тёплые накидки рыбаки, словно пингвины. Лёд на протоке прозрачен как стекло, и виден каждый камешек на речном дне, кое-где вмёрзли в лёд запоздалые осенние листья, и тени от них играют в речной струе, как плавники аквариумных рыбок.

«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»

На лодочной станции вмёрзли в лёд лодки. В такие морозы они кажутся погибшими и выброшенными на берег морскими животными и будут так лежать до весны, пока их не смоем оживший весенний прибой...

Тускло горят фонари, освещают мутным светом ухоженные акации и былки засохшей травы на клумбах. Они светятся, как расплавленное железо, и стекают под ноги голубые искры. Я шёл, любовался морозом, впитывал красоту зимы, чтобы вспомнить о суровых морозах жарким летним днём и улыбнуться...

«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Заработался, задержался на участке. Последний автобус уходит в девять, до него от моего огорода четыре километра. В зимнее время — это непроглядная темь. Месяц ещё не взошёл, задержался за горизонтом, и зябко дрожали надоевшей в тёмном небе далёкие созвездия. Они были до того яркие, что казалось: протяни руку, и можно достать любую звезду с неба, спрятать её в рюкзак, а потом, на радость внукам, повесить её на новогодней ёлке.

Полевая дорога горела от звёздного света, как лента расплавленного металла. Стекали с придорожных промёрзших былок трав и кустов голубые искры инея и восторженно падали мне под ноги. И вдруг я подумал: всё мелочь, всё глупости, всё не главное в нашей неуютной жизни — денежные нехватки, болтовня о демократии и свободе слова, лип-

кая от грязи выборная пора. Всё не главное! Главное — это я, это дрожащие от холода звёзды, это безбрежность неба и Вселенной, это загадочная и тревожная тишина в кустах обочь дороги. Я на какой-то миг почувствовал, что нет никого в мире, кроме меня и звёзд, и я, как они, живу своей особой жизнью и буду жить, словно Бог, вечно...

Где-то впереди на окраине города залаяла собака — она вернула меня в реальный мир: я подходил к остановке автобуса, где горели фонари и окна домов. Звёзды не любят электрического света, становятся тусклее и поднимаются выше. Огромный кот пытался, наверное, поймать звезду над крышей крайнего дома, но не удержался и, громыхая лапами по железу, сорвался вниз...

И я подумал: у каждого живого существа есть свои внезапные взлёты и падения. Для меня таким мимолётным взлётом была ночная прогулка по зимней дороге от дачного участка до последней остановки. Без таких неожиданных взлётов жизнь скучна и однообразна...

БЕРЁЗОВЫЕ НАПЕВЫ

Я люблю колоть дрова на морозе. Не знаю, не ведаю слаще работы. Легко, размашисто врезается топор в промёрзшие берёзовые чурки — и они со звоном разлетаются в розовый вечерний снег. Я подбираю поленья и небрежно бросаю их в кучу поближе к воротам, где у меня дровяной сарай. При ударе друг о друга дрова звенят, словно натянутые гитарные струны, и слушают эту нехитрую музыку прилетевшие из ближнего леса красногрудые снегири...

Потом я укладываю «берёзовые напевы» в поленницу, и идёт от них осторожный и тонкий запах весны. Я сажусь рядом с поленницей на берёзовый спил, закуриваю, смотрю, как твердеют от мороза надвигающиеся с Лиственки сумерки и загораются от закатного, ушедшего за горизонт солнца облака. От этой простой и нужной работы, от этого еле уловимого запаха грядущего тепла на сердце легко и чисто, как в детстве...

...Я набираю беремья дров, заношу в дом, со звоном бросаю берёзовые поленья к печке. После такой светлой рабо-

ты я никогда в своём садовом домике не включаю радио, чтобы не портить ощущение музыки недобрыми вестями. Плохих вестей так много, а душевный уют хрупок...

БЕЛЫЕ ГОРНОСТАИ

На зелёных лапах сосен притаились горностаи. Подхожу ближе, чтобы поймать хотя бы одного драгоценного зверя в белой шубке. Какой неожиданный подарок был бы жене к Новому году! Она давно мечтает о горностаевом воротнике для зимней шубы. Но стоят горностаи дорого, мне не по карману. А здесь их в лесу много: поймаю одного — никто не заметит. Какой получится пушистый и тёплый воротник с серебристым отливом. Ведь жена, как говорится в рекламе французской парфюмерии, этого достойна!

Неосторожно задел плечом о ствол сосны — горностаи гурьбой бросились на меня и рассыпались золотыми искрами...

Домой вернулся весь в снегу.

— Где ты был? — спросила жена...

— Ловил в лесу для тебя горностаю...

— Откуда горностаи у нас в бору?

— На рассвете прошла над землёй туча, и падали с неба на лес, на крыши не снежные хлопья, а белые горностаи...

БЕРЁЗА В ИНЕЕ

Я сохраню эту берёзу в инее и не позволю прикоснуться к ней ветру и птице. Её вышивал мороз по серому холсту неба. Я сделаю рушник из этого холста и оставлю на рушнике берёзу. Я повешу рушник в горнице и не позволю им вытираться.

И если мне придётся уезжать в далёкие края, я заберу с собой рушник как святыню.

А когда тоска по родному дому начнёт терзать моё сердце, я уткнусь в рушник лицом, и мне будет легче плакать...

Вот поэтому я сохраню берёзу в инее и не позволю прикоснуться к ней ветру и птице...

В ПОИСКАХ РЯБИНЫ

У меня давняя традиция: перед восьмым марта я иду в лес, чтобы принести в дом зимний букет. В это время как раз начинают набухать вербные почки, а на оттаявших от робкого весеннего солнца возвышенных полянках можно найти чёрные веера прошлогоднего папоротника. Зимний букет красив и скромен — он переполнен лесной тишиной и морозом, нет в нём бумажной яркости, которая назойливо выпирает из покупных заморских цветов.

Я набрал такой букет: рядом с веточками вербы поместил «стрелы» всегда зелёного хвоща, обрамил букет чёрными «перьями» папоротника-страусятника, а завершил композицию молодым отростком наполненной сонными «бубенцами» почек лиственницы...

Но чего-то не хватало в моём букете: не было в нём того единственного верного мазка, который завершил бы его, сделал не просто набором веток, а законченным произведением искусства. И я понял, что нет в букете живой, трепещущей пламенем морозных гроздей ветки рябины.

И я пошёл искать рябину по глубокому снегу. Снег и небо были переполнены синью и яркими лучами раннего, но ещё не оттаявшего от холодов солнца. Деревья стояли в инее, словно выкованные из серебра. Но вот чуть-чуть солнце поднялось выше, пригрело лес — и иней стал с тихим звоном осыпаться, вспыхивая и переливаясь разноцветными искрами...

Я ещё летом заметил в лесной низинке рябину. А вот и она — стоит и освещает снежную тропинку красным трепещущим пламенем, словно заблудившаяся в лесу ночная звезда. Самая яркая, самая ясная гроздь рябины дополнила мой букет, завершив его скромную красоту, как необходимый и последний штрих художника в этюде...

Я шёл по лесу к Лиственке, к дому лесника Максимыча, и казалось мне, что я плыву в тёплом снежном море и освещаю гроздью рябины себе дорогу...

Вот и мосток, по которому спускается Максимыч к проруби, чтобы набрать в ведра светлой и чистой воды. Слышно, как подо льдом оживилась река, как расправляет она перед половодьем свои «плечи», упирается ими в

берега и разговаривает весело и бойко с придонными камнями...

Букет я принёс домой. Он был с почётом поставлен на обеденный стол и заполнил комнату запахом стылого снега и заблудившейся где-то весны...

ВОЗДУХ РОДИНЫ

Возьму старый глиняный кувшин с полки и пойду в бор. Воздух в бору чист и прозрачен, как бы промыт родниковой водой. Я наберу полный кувшин осеннего воздуха и накрепко забью горлышко деревянной пробкой. Дома я спрячу кувшин в укромном месте на долгие годы.

У меня растёт сын, и настанет время, когда он пойдёт искать своё счастье по свету.

Я не буду прощаться с сыном, я просто у порога отдам ему кувшин:

— Будет трудно — отпей глоток...

И спокойно уйду в дом. С моим сыном ничего не случится. С ним рядом — воздух родины и детства...

ВОЛШЕБНАЯ ГРИБНИЦА

Я принёс зелёный мох из бора и уложил его между двойными рамами. Я не стал убирать с лесного мха иголки старой хвои и золотые берёзовые листья. И вот теперь, когда выпал снег и кругом всё стало белым-белым, я часто подхожу к окну и смотрю на частицу бора в своём доме.

Я верю, что в одно прекрасное утро должны прорваться сквозь зелёный настил мха упругие маслята и розовые рыжики. И тогда я тихо позову к окну своих домочадцев. Я заставляю их подходить к окну на цыпочках, чтобы не вспугнули они неосторожными шагами такое неожиданное чудо. Я открою внутреннюю раму окна и соберу грибы в эмалированную чашку, а потом пожарю их с картошкой. Я позову гостей. Пусть садятся гости за стол и дивятся свежим грибам среди зимы. Я буду беседовать с друзьями и не скажу им, что живёт у меня в доме между рама-

ми окна частица бора, а на стекле в морозной изморози поют птицы...

Но я не все пожарю грибы — два оставлю и подарю жене и дочери, чтобы вплели они их себе в косы. Я знаю, что очень к лицу им будут розовые брошки, которые своим видом напоминают морских звёзд.

ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОШОК

Остался бы я в этом году без грибного супа, если бы не мой сосед по даче Кондрат Иванович. Иду и вижу: что-то мелькнуло в прохладе леса — не то алая ветка осины, не то крыло жар-птицы. Присмотрелся — Господи, это рыжая борода моего соседа. Спускался он с пригорка не спеша и гордо, разгребая опавшие листья берёзовым посошком. Его корзина была доверху заполнена крепкими, ровными, как на подбор, опятами. Посмотрев в мой пустой кузовок, сосед недовольно крякнул:

— Небогат улов... а я, так сказать, с прибылью. Вчера набрал грибочков, вот и сегодня столько же. Хватит на зиму...

Я завистливо ответил:

— Места потаённые знаешь, вот и жируешь...

— Не в этом дело — грибной посошок у меня волшебный. Он сам показывает выводки опят. Они этой осенью пенькам забастовку объявили, растут только в траве, в палых листьях. Дарю тебе посошок. В лесу не спеши, не суетись: помаленьку, потихоньку разгребай листья, шукай в траве — и наберёшь грибов...

Я поблагодарил Кондрата Ивановича за добрый совет. Волшебный посошок сам повёл меня по лесу: он ловко разгребал листья, под которыми прятались опята. Я успевал только им кланяться да срезать ножичком под корень упругие грибы.

Я ещё раза три сходил в лес с волшебным Кондратовым посошком. И, скажу вам, был в удаче. Набрал опят для сушки и для маринада...

В этот Покров, 14 октября, когда считается, что зима встречается с осенью, день выдался солнечный и тёплый.

Пошёл я в лес, и не ради добычи, а ради прогулки, чтобы подышать осенним свежим воздухом, посмотреть, как переливаются опавшие листья под солнцем, послушать звон берёзовой листвы, посидеть на мшистом пенёчке и ощутить себя хоть на минуту счастливым. Лес лечит душу и сердце!

Взял я в дорогу волшебный Кондратов посошок. Спустился в низинку, где в тени ещё не сошёл иней, подмороженные листья и трава хрустели под ногами, как первый снежок.

Вижу: на пенёчке гурьбой стоят опята. Они чисты и веселы. Да и как им не быть весёлыми, когда их шляпки кокетливо украсил хрустальной бахромой иней! Я набрал полный полиэтиленовый мешочек грибов. Вернее, не набрал, а наломал. Морозы, которые до Покрова властвовали в окрестностях Дивногорска в ночное время, как бы законсервировали грибы: у них не изменились ни окраска, ни вид. Срезанные грибы восторженно звенели в мешочке, словно речные камушки. Дома они отомлели, отошли и ничем не отличались от свежих, набранных до морозных утренников опят. Тот же вкус и тот же обворожительный запах...

Волшебный кондратовский посошок я бережно поставил в углу комнаты за книжными стеллажами. Пусть стоит до следующего грибного сезона. Добычливый инструмент — наверное, потому, что он отдан мне Кондратом Ивановичем без корысти, от души. В этом, знать, его волшебная сила!

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ?

После снежной, буранной недели субботней ночью вышло вездю, к утру на наш дачный участок «Таёжный» опустился лёгкий заморозок. Тишина, только под горой внизу слышен загадочный шелест, как будто взмывают вместе с туманом из промоин речки Лиственки робкие птицы... Солнце, по-январски несмелое, посещает дачный посёлок и снежные сугробы, которые сверкают, словно алмазы.

Следы редких обитателей дачного посёлка резки и контрастны. По ним легко можно проследить, кто уже сумел с утра поработать всласть на заснеженных подворьях. Первым, по темноте, конечно, проснулся сторож Максимыч. Он

держит коров, а их не оставишь без сенца и поила. Двор сторожки подчищен, дорожка протоптана до скирды сена, которую сметал Максимыч осенью рядом с пригоном.

Максимыча не видно на дворе — знать, сделал неотложные дела свои и, сидя у окна, пьёт чай, заваренный на травах. Знаю, на печке у Максимыча всегда стоят пахучие густые щи с нежным мясом — по осени заколол он молодого бычка. Максимыч добр и хлебосолен. Мне надо позаимствовать у него колун. Пойду — есть причина. Уверен, пригласит хозяин отобедать. Поломаюсь для виду, но от тарелки наваристых щей не откажусь. стаканом густого, словно сливки, молока запью ароматное блюдо...

Следы от домика соседа Егорыча идут к Лиственке — знать, успел он, пока я дремал, сделать несколько рейсов к проруби, набрал воды для баньки. Сегодня суббота — для Егорыча это святой банный день. Сколько я его знаю, он брезгует городскими банями.

— Пар не тот, что в моей баньке, — говорит он. — После моей баньки спина зудится — крылья вырастают...

Егорычу за семьдесят, но он не по годам бодр и трудолюбив. Колет ли дрова, носит ли воду, копается ли в грядках — всегда поёт. И песни поёт современные: «...ты меня полюби, а потом обними, а потом обмани...»

— Что-то не по рангу песни. Попса... — упрекаю я его.

— Про нас, пенсионеров, эти слова. Наше правительство на словах нас любит, обнимает, а потом обманывает, как несмышлёную молодку, — беззаботно хохочет Егорыч.

Знаю, что в баньку он меня обязательно пригласит. Пытался несколько раз помочь ему, дров принести, воды, но Егорыч от этих услуг каждый раз отказывался.

— Не надо, занимайся своими делами. Не мешай мне блаженствовать в приятном для сердца труде...

Но так просто, на дармовщинку, мыться не принято, совестно. Я в знак признательности всегда приношу на дачу бутылку хорошей, качественной водки. После баньки Егорыч не против пропустить одну-две рюмки «сладивой».

Зимой в шесть вечера темно. Слышу скрип калитки. Это Егорыч. Не заходя в домик, с крыльца зовёт:

— Бери, сосед, полотенце. Жар — аж кости трещат...

В баньке густой запах берёзового пара, от каменки исходит жар, как от кратера вулкана. Егорыч уже на верхней пол-

ке, удаю покрываю, сечёт себя распаренным веником до малиновой красноты. Я откровенно завидую: жара ему нипочём. Вот, может, поэтому он не по возрасту вынослив и весел.

— Плесни ещё ковшичек на каменку, Карпыч...

Плеснул.

— Ёшки... О-о-о... мать твою, — кричит Егорыч от удовольствия.

Напарившись досыта, Егорыч уступает полку мне. Пока ждал очереди, сошло с меня три пота. Парился уже без особого азарта, не до дурости в голове. Первенство в «порке» тела давно уже уступил соседу.

Из баньки мы выходили с чувством душевной и телесной лёгкости. Казалось, взмахни руками — и взлетишь над горами, покрытыми тёмной тайгой, над Лиственкой, где в промоине таинственно светят звёзды.

В домике раскладываем нехитрую закуску, наливаем рюмки. Егорыч поднимает рюмку, смотрит в ночное небо:

— Интересно, есть ли жизнь где-то во Вселенной? Если есть, то все обитатели Вселенной завидуют дикой завистью нам с тобой, Карпыч. Банька, рюмка водки, хорошее настроение. Это ли не жизнь?

ЗОЛОТАЯ РЫБКА В КОВШИКЕ

По утрам, поёживаясь от прохлады, я набираю воду для рукомойника из кадушки, что постоянно стоит под дождевым стоком садового домика. Дождевая вода полезна для кожи, и пахнет она росой и радугой.

Вот и сегодня утром зачерпнул воду ковшиком — и вздрогнул в лёгком испуге. Показалось мне спросонья: в ковше плавает золотая рыбка с огненными плавниками. Это была гроздь алой рябины, которую сорвал шаловливый ночной ветер и бросил её в дождевую кадушку. Моя рябина стоит у крыльца и даже ночью светится, словно костёр, обилием ягод.

Я не стал выбрасывать кисть рябины из ковша и вылил воду вместе с «золотой рыбкой» в рукомойник. Когда мылся и чистил зубы, пахла вода осенней сытой спелостью, и был у неё терпкий вкус, как у молодого вина.

А может быть, это была на самом деле золотая рыбка, потому что день выдался добрый и радостный, и тянуло в бор, откуда шёл зовущий запах грибов и увядающих трав. Даже вечно буйная, шумливая Лиственка присмирела внизу под дачами и, наверное, тоже любит спокойными красками уходящего лета.

И ПРИСЯДУ, И НЕГРОМКО И НЕСКЛАДНО ЗАПОЮ

На моей даче стоит железная печка с гнутым для сохранения тепла дымовым коленом. Жаровитая печка. Безбоязненно в самые лютые морозы я ночую на «фазенде». В моём неприхотливом домике свой микроклимат, своя тишина, своя загадочная душа. А на чердаке живёт добрый домовый — проснусь ночью и слышу, как он бегаёт по потолку, стучит маленькими копытцами в потолочный настил.

Встаю я засветло. Укладываю в топку печи заранее приготовленные и просушенные лучины, а сверху придавливаю их просушенными лиственничными поленьями. Поднесёшь спичку — огонь вспыхивает резко, в обхват обнимает лучины, потом дрова... и вот «красные петухи» полностью затопили топку, и ласковое податливое тепло пошло гулять по дачной комнате. Первым делом ставлю на печку чайник с особой заваркой, где уживаются в едином букете листья смородины, душицы, малины, кипрея и белоглоловника.

Чайник закипает — аромат поля и лета гуляет по комнате. Утреннее чаепитие в одиночестве, в оглушительной тишине — праздник души: все заботы и невзгоды покидают сердце, словно пепельный дым из печной трубы.

Потом ставлю на печку картошку в мундире — это моё любимое дачное блюдо, напоминает картошка мне трудное и в то же время счастливое послевоенное детство. И вот картошка готова. Перекидываешь сваренные картофелины из ладони в ладонь, чтобы клубни остыли, очищаешь от липкой и тонкой кожуры и макаешь в подсолнечное нерафинированное масло. Боже, что за чудесное блюдо! Идёт от картошки запашистый пар, как от сытого поля после тёплого дождя.

Над печкой у меня проволока: на ней я подвешиваю травы для просушки, а осенью грибы. Висят они, как разноцветные бусы.

От тепла стёкла окон отпотели, из-за горы встаёт солнце, слышно, как за окном ходит ветер. Сажусь на скамейку, приоткрываю дверцу печи и замороженно смотрю на догорающие угли: они лопаются, стреляют от избытка жара, осыпаются искрами на пол. Спокойно на душе, и хочется писать стихи. Они рождаются легко и просто, потому что всё вокруг заполнено тишиной и поэзией.

*Как обычно, встану рано,
Выйду в снежную зарю...
И сквозь всполохи бурана
След к колодцу проторю.
Отряхну я на крылечке
Белой варежкой пимы,
Затоплю в избе я печку,
Печку — солнышко зимы.
Погойду к ведру напиться,
Медным ковшиком звеня.
А в ведре, как крылья птицы,
Блик забьётся от огня.
Приоткрою чуть заслонку,
Погодвину к ней скамью
И присяду, и негромко
И нескладно запою.*

МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ

В короткое солнце морозного полдня я люблю рассматривать узоры на стёклах окон. Они вызывают в моей душе ощущение мудрой гармонии мира, когда всё важно для живого: и полёт бабочки от цветка к цветку, и взрыв охлаждённой звезды в бескрайнем космосе.

Мне кажется, что ходит среди сказочного леса шаловливый ветер и доносится из-за стволов волшебных деревьев живая зовущая музыка, а весь морозный узор соткан

Богом мне на радость из холода и тонких волокон тумана. Тайная музыка волнует душу и зовёт куда-то уехать от сегодняшних забот и неуютности жизни. Например, в далёкое детство, где над отцовской избой застыла одинокая звезда, летом после обложных тёплых дождей берёзовые лощины заселяют крепкие грибы-обабки, а на плетнях огородов зреют и набираются сладости огромные желтобокие тыквы...

Летом по теплу мы всей семьёй ужинали в сенцах, за огромным деревянным столом, промытым и выскобленным матерью до желтизны притаившегося за лёгкой тучкой солнца. Я вижу, как мать вносит в сенцы чугунок отварной картошки и ставит его в центре стола рядом с глиняной крынкой с парным молоком и чашкой малосольных огурцов... не буду рвать сердце воспоминаниями — одно скажу: никогда в жизни я не ел с таким аппетитом и с таким удовольствием, как в детстве.

Всякое бывало: потчевали дорогими экзотическими блюдами на различных презентациях и высокопоставленных тусовках, бывал в дорогих ресторанах, но нет ничего вкусней разварной картошки моего детства...

На узор морозного окна можно смотреть часами, находить в нём всё новые и неожиданные оттенки, думать о быстротечности нашей жизни. Светлую грусть навеивает морозное чудо на моё сердце...

Русские народные мастера брали с морозных узоров радостные детали и оставляли их навечно в своих работах. Красота и неожиданность морозного окна чувствуется в расшитом полотенце, ковеной оgrade, в лубочном весёлом орнаменте. То, что мороз для русского мастера соавтор и учитель, я впервые осознал в Енисейске, когда я любовался узором ковеной оgrade вокруг усадьбы золотопромышленника Кытманова. Особенно великолепно ограда в лунном свете, когда проступает на железе роса и горит она, словно драгоценные камни. Неизвестно, кто ковал эту железную сказку, кто вложил в неё без остатка своё сердце и душу. Мастер больше века назад перенёс узор мороза на железо, закалил красоту в кузнечном горне и оставил её земле, звёздам и людям. Смотрите, дескать, всё уйдёт, всё канет в небытие и тлен, только красота вечна...

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Дождевая туча долго бродила над речкой, цепляясь за вершины старых тополей. Потом она тяжело вздохнула и, оставив на сучьях влажные серые хлопья, поплыла в сторону Саян.

Картофельная ботва, поникшие подсолнухи, вялые от жары листья свёклы укоризненно смотрели ей вслед. Сухая земля запёкшимися чёрными губами шептала лишь одно слово: пить, пить, пить...

Но туча, недовольно ворча, уходила в тайгу и лишь изредка оглядывалась назад, сверкая белыми зрачками.

«За что обиделась? Наверняка неприветливо встретила...» — подумал я.

Об этом догадались мальчишки. Они, поднимая босыми ногами пыль, побежали вслед за тучей. Где-то далеко, у самого бора, я услышал их звонкие голоса:

*«Дождик, дождик — пуще!
Дам тебе гущи,
Дам хлеба каравай —
Сильней поливай!»*

Туча остановилась, заурчала довольным голосом и повернула назад. Мальчишки возвратились вприпрыжку в посёлок, и в их спины, выгоревшие от солнца волосы, смеясь и играя, ударили упругие капли дождя.

Мальчишки спрятались от него в недостроенном доме, а дождь искал их по посёлку, заглядывал в окна, под деревянный мост, под широкие листья придорожных лопухов. Дождь долго не мог найти мальчишек и к вечеру зажгёт в лужах тысячи маленьких фонариков под стеклянными колпачками, чтобы осветить себе дорогу...

К полуночи дождь утих. Я открыл окно в доме, пахло от огородов, дальних полей тёплой свежестью только что выпеченного молодого хлеба.

Значит, дождь нашёл мальчишек, и они отдали ему обещанный каравай...

ПАРНОЕ МОЛОКО С ПЕНКОЙ

Снега в эту зиму выпало много, и каждое утро сторож наших дач Максимыч начинает с расчистки дорожек до сеника и пригона, где он вместе с женой Лидией Павловной держит корову и тудягу-мерина Рыжко. С особой тщательностью, под метлу, приводит в порядок лестницу, что ведёт к проруби на речке Лиственке, — нужна вода в дом для чая и борща, на приготовление поила для скота. Не дай Бог поскользнуться. Мало, что не принесёшь воды, можно и зашибиться. Годы немолодые.

Когда я приезжаю первым автобусом на дачу, лестница к проруби готова для использования. Зимой я беру воду для чая из проруби Максимыча. Пробовал заваривать чай из талого снега, но не то, не то. Заварка не отдаёт весь свой цвет и аромат, а вот вода из речки Лиственки — другое дело. Заварка получается плотная, пахучая, терпкая.

Журчит, смеётся вода в проруби, виден каждый камешек на дне реки и палые ещё с осени разноцветные листья берёз и осин. Всегда удивляюсь, почему листья не смывает речной поток, как они там держатся среди камней, шевелясь и вздрагивая, словно испуганные аквариумные рыбки. Наверное, набухли, отяжелели от воды, зацепились за камни — и не страшна им бурная речная струя. Я стараюсь окунуть ведро глубже в прорубь, чтобы поймать листья. Иногда удаётся — и плавают они в ведре, словно золотые рыбки.

На крыльце сторожки меня ждёт хозяйка, Лидия Павловна.

— Заходи, чайку попьём. Замёрз, поди, пока шёл от остановки.

Чай у Лидии Павловны особый, духмяный, она добавляет в заварочку листья смородины, душицы, малины. Пьём чай — беседуем. Лидия Павловна, несмотря на то, что в сторожке нет света, телевизора, а только старенький транзисторный приёмник «Альпинист», разбирается в политике и экономике, пожалуй, лучше, чем депутаты Госдумы. В крайнем случае, мне так кажется.

— Скажи, зачем эту дурь затеяли — десять выходных после Нового года? Заняться зимой, особенно городским, нечем. Знай только пей, а это драки, разборки, семейные

скандалы. Вся страна не работает. Посуди — какой ущерб для экономики. Нам, правда, с Максимычем всё равно. Для нас нет праздников, коровки — они требуют ухода.

Максимыч пьёт чай маленькими глотками, с шумом, с каким-то причмокиванием, поддерживает супругу. Говорит он ёмко, афоризмами:

— Души наших депутатов — потёмки. Это ещё цветочки, а ягодки впереди. Они там заседают, принимают законы, а на бедного рядового Макара все шишки валяются...

За разговорами незаметно идёт время. Пора затапливать печку в дачном домике.

— Попей на дорожку парного молочка, — предлагает Лидия Павловна.

Она открыла стоящий на печке чугунок, налила в кружку ковшем деревянным пахучего густого молока.

— Тебе с пенкой или нет?

— В детстве очень любил с пенкой, — отвечаю я.

Хозяйка ложкой поймала золотистый слой пенки, дополнила ею мою кружку.

Пью сладкое топлёное молоко. В нём столько тепла, что кажется — вернулось беззаботное детство. На миг вернулось, а это ль не счастье?

Ухожу из гостеприимного домика, за спиной слышно, как журчит в проруби весёлая струя Лиственки. Душа у меня улыбается, светится, и весь зимний день пролетел как одна минута.

ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ

Семён Максимович Калашников — лесник Дивногорского лесхоз-техникума и по совместительству сторож нашего дачного кооператива. Домик его стоит внизу у самой Лиственки, из окна виден как на ладони весь взгорок, где расположены наши четырёхсоточные наделы. Появление незваных гостей исключено: если прозевал Максимыч, подскажут собаки — их у него четыре, звери, а не собаки, но «своих» дачников знают чётко...

А ещё у Максимыча есть мерин Рыжко. Лошадь и Максимыч чем-то похожи друг на друга. Неторопливые, работающие, нетребовательные.

Висят на стене сторожки Максимыча портреты двух генералов — Рудцкого и Лебеда, царство ему небесное. Их я подарил леснику в то время, когда они баллотировались в губернаторы. С тех пор и висят для украшения. Привыкли к ним Максимыч и его добрейшая супруга Лидия Павловна. Очень жалели, когда погиб генерал Лебедь, потому что голосовали за него.

Как-то я спросил: а прокормили бы они этих двух генералов, если бы так пришлось?

— Они, если бы не побрезговали нашей простой крестьянской пищей, всегда были бы в сытости, — ответила Лидия Павловна. — Тарелку борща да стакан молока всегда бы подали. А Александр Иванович вишь какой бугаистый был, уверена — и дров бы поколол, и в избу натаскал, смотришь, и навозец из-под коровушек бы вычистил...

Старики Калашниковы и сейчас кормят себя, детей своих, да и дачникам остаётся. Пять коров держали этим летом Семён Максимович да Лидия Павловна. Молочку таёжному нет цены.

Раньше держали и курочек, но сейчас невыгодно — цены на комбикорма подскочили до заоблачных высот. Мясо становится золотым...

Было время, когда я у Калашниковых каждый год боровка покупал к ноябрьским праздникам. Вместе зарежем, вместе разделаем, рассортируем, и ешь не хочу. В 120-130 рублей обходился боровок в то время. В два раза меньше моей прежней месячной журналистской зарплаты.

За коровками ухаживает супруга Максимыча Лидия Павловна. Специалист по коровам экстра-класса. Почти всю жизнь проработала дояркой в Богучанском районе и знает все коровьи капризы. Вот и отдаёт ей коровки всю продукцию сполна, не оставляют в вымени ни капли.

— Корова сегодня — это сберкнижка, — рассказывает хозяйка. — Сама себя кормит, да нам и людям остаётся. Деньги, которые мы выручаем на молоке, идут на сено. Закупаем его у частников. Раньше, при коммунистах, легче было хозяйствовать. Максимыч мётлы для балахтинских совхозов вязал, а они рассчитывались за них сеном. Теперь заказов на мётлы нет. Говорят, коровье поголовье всё порушено, фермы пришли в негодность и подметать нечего. Но

даже сейчас, при нынешнем раздрае, коровка в хозяйстве самая выгодная животи́на...

Мерин Рыжко, можно сказать, главная тягловая сила хозяйства, без него как без рук. На нём Максимыч и охраняет свой лесной участок, заготавливает дрова, да и в Дивногорск ездит на лучшем «друге» за всеми необходимыми для жизни в лесу товарами. Мерин обходится хозяйству недорого. Летом проблем нет, травы вокруг дач — море, но и зимой мудрая лошадка не голодает: разгребает копытами снег, находит былку-другую — тем и перебивается. Однако как бы ни было трудно и безденежно в хозяйстве, Максимыч своему любимцу-трудяге к вечеру подбрасывает в кормушку две-три жмени овса.

— Овёс — не только витаминный корм, но и привада животного к дому. Где бы он ни гулял, а вечером обязательно вернётся в конюшню, знает, что здесь его ждёт лакомство, — говорит Максимыч.

А какое удобрение «вырабатывает» Рыжко за зиму! Не удобрение, а истинный стимулятор роста овощных культур. Первым делом Максимыч обеспечивает конской подкормкой свои грядки, а потом на тележке развозит остатки удобрения самым, по его понятиям, уважаемым членам садоводческого товарищества. Слава Богу, я у Максимыча тоже пока в уважении. Огуречник мой всегда забит конским навозом. Да и дровишек иной раз для бани на Рыжко подбросит. Денег за работу не берёт, а вот от рюмки не отказывается. И то только по праздникам да иной раз вечером с устатку. Не увлекается Максимыч выпивкой.

— Начнёшь пить — хозяйство порушишь. Водка, она для дела враг номер один. Но если с баньки да с холода — полезней напитка нет, — убеждённо говорит он.

Жилистый, крепкой породы конь у Максимыча. Весной легко, без особого напряжения тянет плуг, земля чёрной волной ложится из-под лемеха. К какой породе относится Рыжко, Максимыч не знает.

— Крестьянская порода, — говорит он уверенно, — дюжистая.

Сам Максимыч, конечно, мужицкой породы. На таких, как он, испокон веку Русь держалась. И пахари из таких, и воины. Жаль, что всё меньше становится на селе «породистых» мужиков!

Как-то спрашиваю у Максимыча:

— Отдашь ли ты Рыжко за полцарства, как в сказке называется?

— А зачем мне полцарства-то?.. Морока. Мне и так хорошо. Смотри, как ветер резвится в гриве Рыжко. Слушай, какие извечные песни поют птицы в тайге за Лиственкой, посмотри, как бьётся струя в горной реке, словно несётся табун с белопенными гривами. Это ли не жизнь!

УЛИЦА ДОБРАЯ

Вся в золоте листья дивногорская улица Добрая. Звонит листва под ногами. Иду не спеша по улице, и настроение у меня доброе, и умная добрая бабушка сидит на лавочке у дома. Она смотрит на меня добрыми глазами и улыбается.

— Ты чей будешь, сынок, и кого ищешь? — спросила она.

— Дивногорский я и никого не ищу, а просто брожу по городу. Да вот встретил на пути вашу улицу Добрую.

— У нас не только улица Добрая, но и люди добрые, — сказала бабушка. — Вот я одна живу, старик помер, сыновья на войне погибли, но добрые люди с нашей улицы каждый день приходят ко мне, помогают по хозяйству, и я не чувствую одиночества...

Иду дальше...

Навстречу девчушка с охапкой осенних цветных листьев.

— Возьми, дяденька, это не листья, это пряники. Я их сегодня напекла в печке и сейчас раздаю прохожим.

Я взял горсть листьев и поблагодарил девочку...

На воротах дома красная звёздочка. Пожилой хозяин в ограде прорубает малину. Увидев меня, он бросил работу, подошёл к плетню.

— Давай покурим, — обратился он ко мне, как будто мы с ним знакомы много лет.

Я полез в карман за сигаретами.

— Не надо, у меня слаще, — сказал он с улыбкой.

Стоим, курим, говорим о погоде, об осени...

— Воевали? — спрашиваю я.

— Пол-Европы прошёл...

— Расскажите что-нибудь о войне.

— Не надо, брат... Зачем? Будь она проклята... Лучше я тебе дам яблок.

Хозяин пошёл к дому и скрылся в сенцах. Когда он поднимался на крылечко, нога у него не гнулась и скрипела. На протезе...

Он принёс чашку некрупных жёлтых яблок и высыпал мне в кепку.

— Угости домашних...

— Спасибо!..

— Не за что...

Мы расстались с ним добрыми друзьями.

Я шёл по улице Доброй, небольшой дивногорской улице, и мне очень хотелось, чтобы она никогда не кончалась, чтобы она шла через всю Россию, все материки и страны и чтобы жили на бесконечной улице Доброй красивые и добрые люди, как бабушка на лавочке, как девочка с листьями-пряниками, как старый солдат, который одарил меня жёлтыми спелыми яблоками...

ШУРКИН ПОДОСИНОВИК

Ещё вчера солнце дышало жаром и птицы с приоткрытыми от духоты клювами шныряли с писком между веток, склёвывая с листьев разомлевшую мошкарку и остатки утренней росы. А сегодня подкрался на цыпочках грибной обложной дождь, не потревожив ветром ни листка, ни травиночки. Дождь шёл не торопясь, основательно, листья рябины у порога моего садового домика расправились, посвежели и, не шелохнувшись, зависли в густом и влажном воздухе. Капли дождя накапливались на кончиках листьев и горели, словно лампочки карманных фонариков.

Я обулся в резиновые сапоги, накинул плащ и пошёл в лес. Я люблю собирать грибы под дождём, потому что не я, а сами грибы предлагают себя: вот, дескать, я — стою среди поникшей от влаги травы, не ленись, сделай поклон и забери меня в свою старую корзину из ивовых прутьев. Прислушивайся, и ты услышишь, как оживают грибницы под сло-

ем лесного мха, и весь окоём пропитан горьковатым запахом сосновой хвои, груздей и воды...

Я иду в свои заветные грибные места, где на полянах поджидают меня упругие маслята, в тенистом разнолесье среди травы притаились грузди...

Я весь в поиске и напряжении: поднимаю подозрительные моховые вздутия, заглядываю под навесы берёзовых веток, осторожно раздвигаю острые былки осота. Моя корзина постепенно наполняется разноцветными, словно морские кораллы, грибами...

...Я приношу грибы домой и медленно, с наслаждением, раскладываю их на несколько кучек: для засола, на жарёнку, для сушки. Я беру гриб в руки и сразу вспоминаю, в каком уголке бора, под какой веткой он найден. Вот маслёнок с беличьей меткой на упругой шляпке: он взят на склоне лесного пригорка у старого мшистого пня, напоминающего своим видом лешего с зелёной бородой. Белка сидела на вершине сосны и грозно «цокала», как бы говорила: «Не тронь! Я нашла. Я приготовила его себе на зиму, да не успела унести на дерево и подцепить для сушки на сухую ветку».

Этот огромный, как слоновье ухо, сырой груздь вырос в низинке, а рядом с ним в палых берёзовых листьях прятался от людского глаза с десяток его меньших братьев...

А вот, на самом дне корзины, главная находка грибного похода — большой и крепкий подосиновик с нахлобученной на самые глаза коричневой шляпкой. Внук Шурка восхищённо берёт гриб в руки и убеждённо говорит:

— Этот гриб — самый главный генерал над всеми грибами леса. Посмотри, деда, какой он толстый и сытый и какая у него огромная шляпа...

— А мы этого «генерала» на сковородку, — отвечаю я Шурке и откладываю подосиновик в кучку для жарки.

И вот грибы разобраны и разложены на столе...

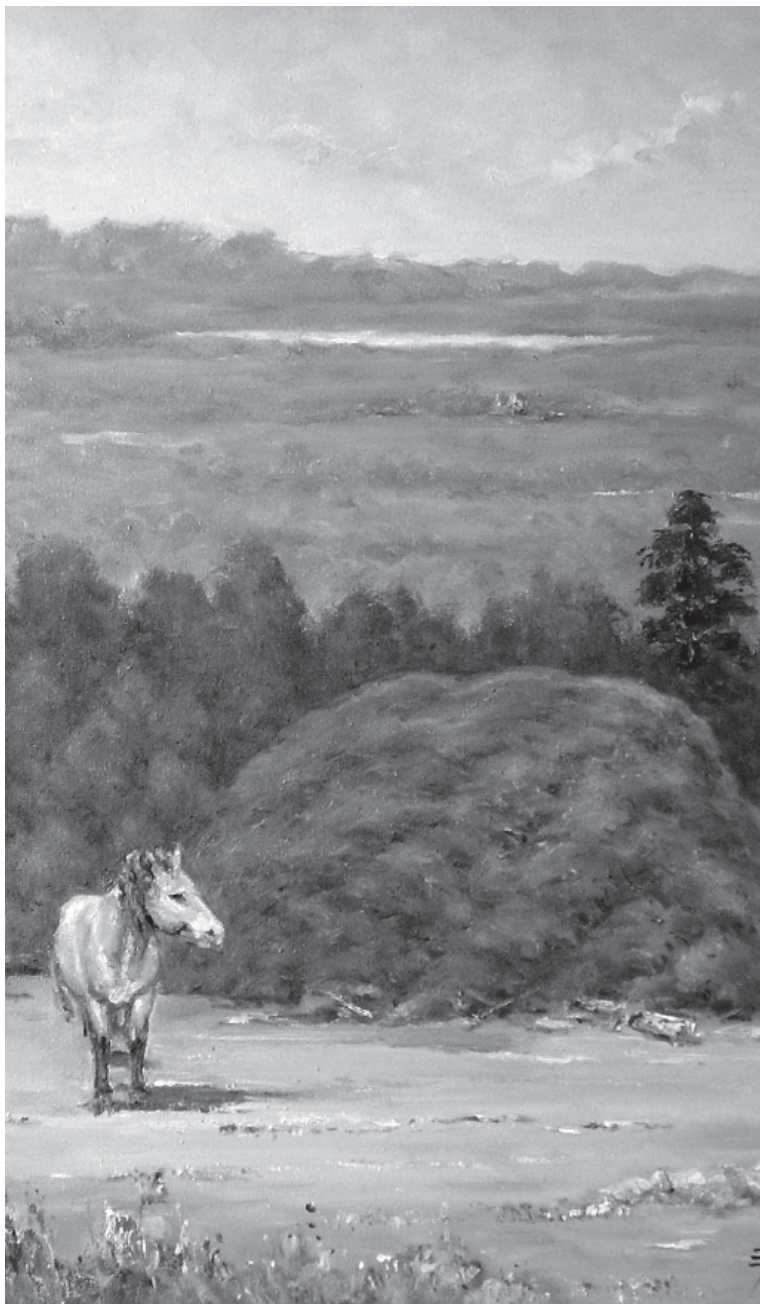
Я не прячу далеко корзину. Знаю, что не вытерплю и завтра опять пойду в лес. Чувствую, что после такого грибного обложного дождя в берёзовых колках, на полянах вот-вот пойдут беланки. Они совершают нашествия как раз в середине лета, когда холодные ночи начинают снимать первую листву с деревьев, а ветер разносит её по лесам, полянам, по сытым огородам.

Жаркое из грибов получилось преотменное. Я не вытерпел, достал из погребка, «под генерала», бутылочку рябиновой настойки. Шурка уплетал грибы с чаем.

— Хорошо жить на свете, Шурка, — говорю я внуку. — Вся земля дана человеку в подарок... Береги её как зеницу ока...

ЗЕЛЁНОЕ СОЛНЦЕ

Рассказы



ВЛАЖНЫЕ ГЛАЗА ЗВЕРЯ

Иной раз и поскандалит Семён из-за пустяка с женой Анной, покроет её незлобивым, но решительным матом для утверждения мужского авторитета, понервничает малость, но только стоит Семёну присесть на крыльцо избы, осмотреться кругом, прислушаться к шуму Лиственки — успокаивается душа. Речка почти у самого порога, в низинке за набухшим тальником, хлюпает подо льдом, клёкает по донным камешкам. Весна ещё не началась по-настоящему: со стороны незамерзающего Енисея, куда впадает речушка, по утрам поднимаются промозглые туманы, но к полудню они пугливо уходят в окрестные леса, и тёплый ветер с ущелья заполняет долину. Южный скат горы, что круто поднялась напротив кордона, уже полностью освободился от снега, и к вечеру от прогретых солнцем зеленоватых сланцев исходит благодатное тепло...

Воля, простор кругом, воздух сытый и синий, и никого нет в окрестности, кроме Семёна, подворной скотины да излишне шумливой, работящей Анны. Ни на какие блага не променяет Семён эту простую и бесхитростную жизнь, когда так всё ясно на сердце и никто не обидит тебя несправедливым словом. Как два лесных лешака они с Анной. Бывает, в минуты лёгкой грусти зевнёт Семён, скажет со вздохом:

— Кажин день одно и то же... Крутишься как заведённый...

— Давай ляжем калачиками на печку... Зад к задку. Пусть пропадёт всё пропадом... Всё равно рано или поздно помирать, — отвечает на вздохи мужа Анна...

Но проходит минутная сердечная сумеречь, и опять становится Семёну хорошо и просторно. Живёт окрестный мир по своим законам, меняется ежеминутно, и никто не придумывал и не принимал эти законы — сама природа создала их себе в усладу, на радость всему живому, в том числе и ему, леснику Семёну...

Конь в пригоне ударил копытом в ворота, фыркнул, ещё ударил — зовёт, видно, хозяина, чтобы выпустил на свежий воздух. Собака Снежок повизгивает, преданно тычется холодным носом в ладонь Семёна.

— Тепло, брат, тепло, — добродушно говорит лесник Снежку. — Перебедовали сообща зиму...

Снежок вдруг насторожился, шерсть на загривке упряго взъерошилась, и он с лаем кинулся к Лиственке. Но, встретив на пути шумящий, остервенело рвущий закрайки льда поток, остановился, простуженно забухал в синие сумерки прибрежных тальников. На той стороне речки, за оттаявшим стожком сена, захрустели валежины, и какой-то большой и сильный зверь рванулся вверх, в гору. Семён вздрогнул от неожиданности, но через секунду засмеялся, позвал собаку:

— Назад, Снежок... Марал это...

А марал легко и плавно плыл в гору, к синему тёплому небу, разбегались желваки мускулов по его крутой спине. Казалось, не бежит он, а летит птицей, не трогая чуткими копытами камни горной россыпи. На уступе скалы марал замер, словно изваяние, нервно нюхал воздух дрожащими ноздрями. Анна тоже заметила марала, прикрыв ладонью глаза, долго смотрела вверх.

— Какой красавец! Картинка, прямо картинка... Мясо гуляет...

— Корысть разыграла, — упрекнул жену Семён. — Мало, что ль, мяса бегаёт по двору?.. Пусть зверь живёт. Без них не тайга, а парк культуры и отдыха имени Максима Горького...

— Да я так, без умысла, — ответила смущённо Анна. — Всех жалко...

Марал постоял ещё несколько минут, успокоился и гордо, неспешно стал подниматься вверх, к вершине горы, срезая по пути острыми зубами пучки прошлогодней травы и молодые осинового побеги. Изредка он вытягивал шею, оглядываясь назад, смотрел на лесника Семёна, который выводил из пригона старого и исхудалого за зиму жеребца с гордой кличкой Янтарный.

Семён решил осмотреть обход, проехать вдоль речки. С осени не выезжал лесник в тайгу, да и не было в этом большой нужды. Одна дорога шла в ущелье, и та мимо кордона; других дорог не было, и недобрые люди не могли пройти мимо незамеченными.

Семён не спеша приладил старенькое седло к ребристой хребтине Янтарного. Конь фыркал, искал мокрыми губами ладонь Семёна.

— С Богом, — пробурчал лесник, тяжело усаживаясь в седле.

Конь захрустал копытами по ноздреватому и крепкому насту. Тропа ещё не оттаяла, но Янтарный хорошо её чувствовал, уверенно шёл вперёд, раздвигая головой невысокие кусты талин. От них исходил прохладный запах водорослей.

— Ты не спеши, — говорил коню Семён. — Спешить некуда. Разомни кости после зимнего застоя...

Конь молча слушал Семёна, хлюпал копытами по оттаявшим, вздрагивал всей кожей, словно отгонял надоедливых мух. Еле заметный след тропы уходил всё дальше и дальше в тайгу, а там, где ущелье сдавило Лиственку испуганно насупившимися утёсами, была тень, и снег ещё не тронули лучи невысокого солнца. Янтарный потерял чувство тропы, провалился по брюхо в снежную целину, испуганно прижал к голове уши, тревожно заржал...

Впереди стояла глухая тайга, загадочно и настороженно смотрели на Семёна сосны. Душа звала вперёд, в синь деревьев, но жалко леснику стало коня, и он повернул его назад, к кордону...

С оттаявшего крутого склона сорвался шальный камень: он набирал скорость, увлекая за собой свободный, не смёрзшийся щебень, и лёгкий обвал спешно поглотила и заглушила отступившая от берегов чёрная струя Лиственки.

Семён поднял голову, посмотрел вверх, в небо: там, высоко на вершине, словно навеки высеченный из рыжего гранита, стоял марал. Откинув голову назад, к спине, он тянул губами к солнцу.

— Живи, красавец! — крикнул ему Семён...

* * *

Быстро привык марал к людям, весь световой день без боязни кормился на склоне горы, иной раз исчезал из поля зрения Семёна, залегал на отдых где-нибудь за каменистым завалом. Скучнее становился склон без марала, не радовал взгляда. Но стоило встать с лёжки зверю, легко и радостно становилось на душе Семёна.

...Как-то, словно от резкого толчка, проснулся Семён на рассвете — в доме царил зеленоватый полусумрак, под которой шуршала коркой мышью, а за бревенчатыми стенами избы глухо шумела Лиственка. Лесник долго лежал с открытыми глазами, прислушивался к потаённым звукам раннего

утра и вдруг почувствовал, что кто-то смотрит с улицы в избу. Семён тревожно поднял голову, вздрогнул от неожиданности: за окном стоял марал, его большие и влажные глаза были полны доброты и любопытства.

Семён осторожно слез с койки, босым пробрался до лавки, с улыбкой спросил:

— Чего тебе? Смотришь, как мы живём-поживаем? Хорошо живём, в тепле... Доброты бы только побольше в мире. Без дележа жить надо, всем места на земле хватит — и вам, зверям, и нам, людям...

Марал, не шелохнувшись, слушал речь Семёна. В его глазах вспыхивали диковатые и тревожные огоньки. Он оскалил, словно в хохоте, зубы и, развернувшись, ушёл неспешно напрямую через огород в темноту леса.

— Ты с кем это там разговариваешь? — спросила Семёна проснувшаяся Анна.

— Да так, сам с собой...

— Стареешь, Семёна. Не замечалось у тебя такого раньше...

Часов в девять, когда Семён управился с делами и сидел на крыльчке, курил, из-за увала, со стороны деревни, послышался шум мотора. Из подъехавшего выдавшего вида «уазика» выскочил лесничий Колька Капитонов. Это был разбитной, сам себе на уме мужик лет сорока, с прокопчённым солнцем и тайгой до меди лицом.

— Как дела? — спросил он, не здороваясь.

— Жить можно, — ответил с ленцой в голосе Семён. — Вчерась пытался на коне по обходу проехать, посмотреть, что и как, да Янтарный затоп в снегу...

— У тебя не обход, а дом отдыха... Мышь не проскочит...

— Да, это так, — согласился Семён.

— Зимой служба нехлопотная. Зато летом, сам знаешь, глаз да глаз нужен. Ягодники, грибники... того и гляди, тайгу подпалят...

Марал на горе, по-видимому, сделал неосторожный шаг, наступил на щебневую россыпь, и камни с шумом покатились вниз, к Лиственке.

Капитонов удивлённо посмотрел вверх, в его зеленых глазах вспыхнул хищный огонёк...

— Ты что молчишь? У тебя такой красавец прописался? Давно пасётся?

— С неделю... Как только снег сошёл со склона... Привык к нам, а мы к нему — Снежок, и тот уже не лает на зверя.

Лесничий ничего не ответил, с ленцой, вразвалочку пошёл к машине.

— Завтра с утра будь в конторе — приказал он Семёну.

— Что стряслось?

— Там узнаешь...

Ровно в девять лесник Семён привязал Янтарного к штaketнику леспромхозовской ограды. В конторе была тишина. Кабинет Капитонова наглухо закрыт. Семён заглянул в бухгалтерию. Бухгалтер Ираида Ивановна недовольно оторвала лицо от бумаг.

— Где Николай Парамонович? — спросил Семён.

— Он мне не докладывает...

— Зачем-то вызывал меня в контору?

— Раз вызывал, так жди...

Но лесничий не появился ни через час, ни через два...

— Баламут, трепач, — ругался мысленно Семён. — Ветровой мужик...

После обеда ждать Капитонова не было смысла. Семён отвязал от штaketника Янтарного, глухо ругаясь, взобрался в седло. По дороге до кордона Семён не подгонял лошадь, пошатываясь под такт шага коня, слушал звуки горного леса, шум реки и думал обо всём на свете: о жене Анне, о детях, которые обосновались в городе и редко наезжают в гости к родителям, а ещё о Чечне, где льётся кровь непонятно зачем и люди убивают друг друга. Зачем? Разве мало места на земле? Надоедливую муху и то иной раз жалко прихлопнуть ладонью...

Из-за красных талин показалась шиферная крыша кордона: из трубы шёл вялый дымок — знать, Анна приготовила обед, ждёт мужичка из поездки. Когда нет Семёна на кордоне, Анна реже выходит на подворье — боязно ей в тайге, тревожно на сердце...

— Появился — не запыхался, — улыбнулась Анна. — Ты только из дома, а Капитонов тут как тут...

Семён вспомнил хищный блеск в глазах лесничего, когда тот смотрел на склон, где кормился марал, и всё понял. Он выскочил на улицу, посмотрел в гору — марала не было видно, только покрасневшие кусты оттаявших талин в ложке текли кровавой струйкой, словно кто-то выстрелил в гору и она истекает свежей раной...

Лиственка бешено рвала закрайки ноздреватого льда — вот-вот должен начаться ледоход, вспученный лёд напряжённо потрескивал, стонал от напора потока. Семён метался по скользкому берегу. На той стороне был виден свежий след вездехода: он шёл к горе и терялся в прибрежном черёмушнике... Точно всё рассчитал Капитонов, не придерётся — весенние воды смывают следы браконьерства. Как назло, куда-то запропастился Снежок. Кричал Семён в синь леса, звал собаку, но больше он кричал для другого: если вдруг жив марал, то встанет с лёжки, даст о себе знать. Но склон горы был пуст и неуютен.

Семён тяжело сел на оттаявший ствол бросового дерева, шептал холодными вздрагивающими губами:

— Господи, как жить дальше? Почему люди такие? Рухлядь, а не люди...

* * *

...Снежок появился на подворье к вечеру. Он сыто облизывался, вилял хвостом. На белой густой шерсти, на морде застыли сгустки свежей крови. Знать, пировал Снежок на том месте, где разделявал лесничий тушу марала. Семён был жалостлив ко всякой скотине, а здесь как-то само собой получилось — пнул изо всей силы собаку, она отпрянула от лесника, обиженно заскулила...

— Ой, лешак, сдурел, что ли? За что ты так? — заругалась Анна.

Семён ничего не ответил, взял вилы и пошёл, чтобы подбросить на ночь малость скотине сена...

ВНУК ШУРКА И ПАБЛО ПИКАССО

Что вы там ни говорите, а мой внук Шурка — великий художник.

Я его называю «передвижником», потому что во время работы над картинами Шурка весь в движении — от глаз до пяток: он то мудро прищурится, то гневно топнет ногой, то громко и красиво шумуряет носом, одновременно вытирая его заляпанной акварелью ладонью. А когда он заканчивает творить, то трудно понять, где у него ярче, талантливее получился этюд — на лице или на ватмане...

За любовь к рисованию, к творчеству Шурку досрочно приняли в художественную школу, куда он ходит с огромным удовольствием. В школе ему нравится всё: запах красок, стены, увешанные дипломами и почётными грамотами, девчонки, которых он охотно задирает и дёргает за косички. Особенно ему по нраву директор школы Владимир Ефремович. Да и сам Ефремыч относится к Шурке уважительно, любит с ним беседовать на самые разные темы. Оно и понятно: два мудрых, думающих мужика всегда найдут тему для душевного разговора.

Пожалуй, единственный из всех учеников Шурка вхож в святая святых — художественную мастерскую Ефремыча.

Стиль Ефремыча яркий, контрастный, с резкими переходами от света к тени. Этюды его выпуклы, рельефны, чем-то напоминают сарьяновскую манеру письма, правда, краски Ефремыча немного помягче, скромнее. Оно и понятно: Сарьян творил в солнечной Америке, а Ефремыч пишет в основном сибирские пейзажи, где природа непорочна и застенчива.

Я лично не умею рисовать. Даже не пробовал. Но иной раз хочется что-нибудь изобразить вечное, оставить на полотне потомкам на память — например, утренний июньский дождь, когда редкие молнии бьют с размаха в землю, цветы и деревья в ожидании первых капель становятся ярче, аромат от них заполняет всё окрест. Туча, как живой лиловый морской прибой, надвигается на город, закрывает небо и солнце. Светило пытается пробиться лучами сквозь мрак, оплавляет окалиной края тучи, от которой исходит свет, похожий на полярное сияние... Но, увы, чего не дано, того не дано. Надеюсь, мой внук Шурка, когда созреет, изобразит дождь и гром, и бодрый аромат цветов, запахи предгрозового леса. Уверен, запахи, шорохи, песни птиц имеют свои краски. Только большим художникам подвластна эта тайна...

Когда Шурка на перемене зашёл в мастерскую директора, Ефремыч заканчивал картину, на которой в присущей ему манере изобразил раннюю весну, ещё не выпустившие первую листву берёзы, бездонные тёмные промоины на раскисшем лесном зимнике, одинокую и грустную полуразрушенную избушку. Всё в этюде было на месте, всё ярко, выпукло, краски крепко подобраны — хоть сейчас из мастерской неси на выставку и жди похвальных отзывов. Но Ефремыч был недоволен работой, он чувствовал, что не хватало какой-то изюминки, какого-то единственного мазка, который придаст бы этюду цельность и загадочную восторженность. Ефремыч хмурился, то подходил, то отходил от картины, что-то бурчал себе под нос, но не мог уловить последнего взмаха кисти, когда можно сказать себе: «Умри — лучше не напишешь...»

Шурка смотрел на картину учителя, глаза его горели, как два ярких уголька.

— Ну и как, Шурка? — спросил Ефремыч.

Шурка задумчиво поковырял в носу, убеждённо ответил:

— Всё как на самом деле. Только небо весной не такое. Весной небо зелёное...

— Где ты видел зелёное небо? — пробурчал уязвлённый замечанием Шурки Ефремыч.

— А вот да, зелёное... Потому что в небе прячутся краски, а потом они дождём падают на листья...

Шурка убежал в класс, а Ефремыч сел на стул, задумался: «А может, действительно дать зелени, мрачноватое у меня небо. Это создаст незаметный фон близкого предчувствия полного пробуждения природы, когда вспыхнет на ветках восторженная зелёная листва... Да и на проталинки надо подбросить блики солнца».

Ефремыч развёл краску... И заиграла от взмаха кисти картина, заискрилась, повеселела, и показалось Ефремычу, что лёгкий живой ветер вселился в его этюд, вот-вот принёсет он облака — и упадут тяжёлой зелёной зернью дождевые капли в застоявшиеся промоины зимника...

— Ах, Шурка, ах, подлец, — сказал вслух Ефремыч и улыбнулся...

Но больше всего на свете Шурка любит рисовать меня, потому что нет ни у кого такого замечательного деда, у которого седая борода, и ходит он всю зиму в валенках...

Вот дед сидит за машинкой, вместо бороды у него цветы, из клавиш машинки бойко лезут на свет Божий жёлтые лилии. Лысина у деда заросла зелёной травой и подснежниками. Не дед, а настоящая клумба!

Я вопросительно смотрю на внука, недоумённо спрашиваю:

— Это почему столько цветов?

— А потому, — отвечает внук, — ты, деда, написал хорошие стихи и радуешься. Вот поэтому и цветы...

Шурка знает, что я балуюсь рифмами и даже издаю книжки. Он считает меня большим поэтом — больше Пушкина — и очень гордится своим талантливым дедом. Вот и выразил своё восхищение цветами, даже нос мой изобразил в виде лесной ели, а рот — два алых лепестка розы на белом полотне ватмана. Не картина, а восторг!

Как отблагодарить внука за такое романтическое восхваление моей скромной личности?.. Конечно, выплатил гонорар — дал денег на мороженое...

А ещё внук нарисовал меня, как я еду на дачу на запряжённом в сани медведе. Я, как барин, лежу в тулупе в розвальнях, в руках у меня дудка-самопевка, и я пою весёлые песни; чтобы не замёрзли ноги, обул меня внук в валенки, а заодно не пожалел валенок для медведя... А вокруг загадочный пейзаж: пальмы, сосны, цветы и снежные сугробы, а над всем этим великолепием порхают птицы, в клювах которых застряли цветы и музыка.

— Так не бывает, Шурка, — говорю я внуку. — Цветы, снег, пальмы, медведь в валенках. Винегрет какой-то...

— Нет, бывает, деда, — убеждённо отвечает внук. — Это сказка, и ты едешь на дачу сквозь сказку...

— Ну, если так, то всё правильно. Поглупел я с годами, Шурка...

По телевизору показывали, как где-то в Англии подводили итоги аукциона по продаже произведений искусств. Картину Пабло Пикассо какой-то американец купил за два миллиона долларов. Состояла картина из ярких квадратиков и треугольников, а в середине всей этой «геометрии» был изображён огромный женский глаз с глубоким тёмным зрачком. Это был портрет какой-то французской мадам.

— Два миллиона долларов много, деда? — спросил Шурка.

— Очень много...

— На велосипед хватит?

— Думаю, что хватит...

— Я тоже свои картины продам. Я лучше рисую. У дяди Пикассо картины невзаправдешные. Одноглазых тётенок не бывает...

Шурка ушёл спать. Он спал беспокойно, вертелся, ёрзал ногами, гудел во сне, свернув губы трубочкой. Он смотрел какие-то свои детские сны.

Утром я спросил Шурку:

— Как спалось?

— На велосипеде во сне катался. Продал картину, где ты, деда, на медведе едешь. Купил велосипед, и даже на мороженое осталось, потому что дали за неё три миллиона долларов...

— Разве можно продавать картину, которую ты посвятил мне? Она бесценна, Шурка.

— А я тебе другую нарисую, деда, ещё лучше...

ГИБЕЛЬ ВОЛЧЬЕЙ СТАИ БЫЛЬ

В жизни диких зверей, как и в человеческой жизни, свой трагизм, особый юмор и свой пафос.
Джеймс Оливер КАРВУД

-1-

Волчьей стае трое суток не давали покоя...

Как только солнце всплывало из-за гольцов, прилетала гудящая злобная птица, она проносилась над взбухшим от весеннего тепла и талой воды льдом таёжной реки, круто поднималась к вершинам каменистых гор, падала, как чёрный ворон, почти бесшумно вниз и зависала над впадиной, густо поросшей молодым ельником и березняком. Хищная железная птица знала, что волки залегли именно здесь, потому что выхода их следов из впадины не было...

Волки лежали, зарывшись в снег, под густыми лапами елей, дрожали от страха, постанывали от голода и кровяны-

ми жуткими зрачками, полными ненависти, смотрели сквозь ветви вверх, в далёкое и мрачное небо...

Молодые волки пытались встать с лёжки, вырваться на простор и бежать куда глаза глядят по весеннему зыбкому снегу. Но опытный и мудрый вожак, глава волчьей стаи, угрюмо рычал на сородичей, а наиболее нетерпеливых и трусливых укладывал обратно в снег резкими ударами мощных клыков. Он спасал стаю от верной смерти, знал, что только здесь, под лапами елей, зарывшись в снег, можно не выдать себя, переждать ещё день-два, а ещё он знал, что железная птица не имеет ни души, ни жалости...

-2-

Внутри, в тесном салоне «птицы», привстав на колени, открыв блистеры, напряжённо, до рези в глазах, просматривали каждый метр распада охотники. Они старались уловить малейшее движение в снегу, дрогнувшую ветку, чтобы сверху, с высоты птичьего полёта, всадить в дрогнувшего от страха зверя смертельные пули из могильно-чёрных зрачков боевых карабинов...

Это были опытные охотники, на их счету сотни загубленных волчьих душ. Они знали, что нервы у залёгших в ельниках волков натянуты как струны и вот-вот они не выдержат напряжения и выдадут себя неосторожным движением. Охотники попросили лётчика проходить над зарослями как можно плотнее, прижимать машину к вершинам берёз, чтобы вихрь от винтов пробивался до самого снега и не давал зверям ни минуты покоя.

-3-

Первыми не выдержали молодые волки. Не обращая внимания на отчаянный рык и клыки вожака, они взвизгнули от страха, словно щенята, и, проваливаясь по брюхо в холодном и сыпучем снегу, скатились кубарем с откоса на лёд реки. Чёрная железная птица сразу же с рёвом зависла над ними, сквозь шум винтов выстрелы звучали, как далёкие щелчки пастушьего бича. Молодые волки отчаянно метались по льду, злобно рычали, щёлкали зубами и падали от метких пуль замертво на лужи собственной крови...

За ними на лёд тупо и без страха метнулась волчица-мать, она хрипела от переполнявшей её могучее тело зло-

сти, ей казалось, что она в силах достать в прыжке чёрную безжалостную «птицу», вцепиться клыками в её брюхо, рвать куски железа, чтобы вывалились на лёд внутренности ненавистного убийцы её детей.

Вожак пытался удержать самку от безумия, в прыжке перекрыл ей дорогу, но она, зло клацнув клыками, грудью сбила его в снег. Разве есть на свете сила, способная остановить мать, когда на её глазах гибнут дети?! Нет такой силы...

Секунда — и волчица уже была под зависшей над рекой железной птицей; в диком и мощном прыжке она попыталась достать мерзкое железное тело; как вспышки молний, рвали воздух её белые клыки.

Еле слышный щелчок-выстрел — и волчица плашмя упала в наледь, ало окрасив её кровью. Челюсти её были намертво сдавлены. В миг смерти ей показалось, что она достала до брюха птицы, радостно и с наслаждением рванула его клыками и, успокоенная, уверенная в своей победе, ушла из жизни...

Матёрый волк не вышел из кустов, он вздрагивал всем телом от горя и злости, с ужасом смотрел на расстрел семьи, жалобно, по-человечески стонал, крупные слёзы катились по его морде.

-4-

— Матёрый ушёл, — сказал с сожалением один охотник другому. — Нам его не взять. Зверь слишком умён...

Охотники захлопнули блистеры, положили на пол кабины, стволами в хвост, ещё дымящиеся от безжалостной и жаркой работы карабины. Закурили...

Горючее было на исходе. Вертолёт поднялся на безопасную для полёта высоту и пошёл на базу, чтобы дозаправиться и вернуться к горной реке за убитыми волками.

Внизу под ревущими винтами лежала тайга, сквозь мглистый весенний воздух синели освободившиеся от снега острые пики гольцов. Во весь окоём — неоглядный простор, тишина и вечность.

Прекрасная, неповторимая родина уничтоженной волчьей стаи, где звери жили согласно своим законам, охотились, лелеяли потомство, погибали на рогах могучих быковолосей и встречали по утрам солнечный свет на вершинах гор.

-5-

Вернувшийся за волками вертолёт сел на речной откос метрах в ста от убитых зверей. Ближе приземлиться не позволяли густые и крепкие деревья да узкие скалистые берега. Замерли винты, жуткая, пронзительная тишина стояла вокруг. В такую тишину не хочется говорить, чтобы не нарушать вековечный таёжный покой.

И вдруг застывший от безмолвия воздух разрезал усталый и болезненный волчий вой. Он то на секунду замирал, то с силой взлетал к гольцам, и было в этом вое столько тоски и боли, что казалось — стонет от края до края вся тайга...

— Матёрый плачет, — сказал один из охотников...

Охотники, взяв карабины, осторожно пошли по ещё крепкому льду на вой, туда, где лежали в лужах крови убитые волки. Они бесшумно прижимались к прибрежным вербам, оглядывались по сторонам — чем чёрт не шутит, матёрый вождь расстрелянной с вертолёта стаи может внезапно прекратить свою печальную песню, в отчаянье и справедливо броситься на людей, рвать их на части и разбрасывать по снегу красные, дымящиеся от тёплой крови куски ненавистного человеческого мяса. Он имел святое право на месть и убийство...

Но вождь не помышлял о мести, он хотел просто умереть вместе со стаей. Он сидел на снегу рядом с застреленной самкой и, задрвав мощную морду в недружелюбное небо, с закрытыми глазами выливал всю свою тоску и боль в прощальной и жуткой песне. Его могучее тело, покрытое густой, с седыми разводьями шерстью, подрагивало. Зверь рыдал. Вдруг он опустил голову, открыл глаза, полные слёз, посмотрел на приближающихся охотников с пронизывающей всё живое, всепоглощающей ненавистью. В его глазах была мольба о смерти.

«Стреляйте, — говорил жуткий взгляд. — Зачем я нужен один тайге и рекам?.. Стреляйте, проклятые...»

Почти одновременно раздались два выстрела. Вожак упал всем телом на поверженную и холодную самку, и его горячая кровь смешалась с застывшей кровью волчицы. Глаза матёрого были широко открыты: в них отражались прибрежные тальники, дальние гольцы и небо...

ГОРДЫЕ ЛЮДИ

Когда над вымирающей деревней Мыски зависал вечер, густела мгла, последним уходил в темь старый дом Полины Болотовой. Дом её стоял на взгорке, и в окнах долго играли отблески уходящего за горизонт солнца. Сама Полина ходила по двору трудно, вперевалочку — болели изработанные на колхозных полях ноги. Невзгоды, нищета, одиночество старили её не по дням, а по часам. А когда-то была Полина баба что надо — фуфайку распирало спелое бабье добро, на которое постоянно зарились мысковские мужички. Не замечалось, что она млела от первого же мужского взгляда, но добро всё же не застаивалось в лифчике, некоторым мужикам всё же удавалось им попользоваться. Крути не крути, а баба тоже человек, и ей хочется ласки — пусть вороватой, торопливой, потаённой от посторонних глаз.

Полина славилась трудолюбием: вся стена в её доме зашита советскими «Почётными грамотами», а под божницей, на полочке, в резной шкатулке хранилась медаль «За ударный труд». Полина часто доставала её, сжимала крепко в кулаке, шептала сухими губами:

— Железяка... Вот за неё и горбатилась всю жизнь. А что взамен? Только горе. Сволочи у власти сегодня, сволочи...

Но всё же медаль грела озябшую от невзгод душу Полины, она навевала воспоминания о прожитых днях, о людях, которые жили рядом, когда деревня была заполнена ребячьими голосами. Много было хороших людей, которые затронули сердце и сейчас вспыхивают в памяти, как зарницы на осеннем мрачном небе. Взять того же председателя колхоза Петра Ивановича Попова — богател, жил колхоз при нём, и ни мал, ни стар не чувствовали себя в Мысках лишними. Но когда началась эта проклятая перестройка, создали на базе колхоза какое-то непонятное для Полины АО, безжалостно разрубили, словно тупым топором, общую землю на паи, на междусобья, растащили технику — всё рухнуло. Здоровые, непьющие мужики с семьями разъехались искать лучшей доли, осталось в деревне пять старух, которые не нужны ни власти, ни родственникам. Не уехал с этой земли сам председатель колхоза Пётр Иванович: от переживаний, от боли за хозяйство не выдержало сердце. Упал, словно старый, с под-

гнившей древесиной тополь, и похоронили его на запущенном, заросшем травой местном погосте.

Сын председателя Иван Петрович присмирел, сжился с новой властью, притёрся к ней, и по старой памяти, больше за заслуги отца, избрали его главой администрации района.

Проезжая по своим начальственным делам через Мыски, он просил водителя заскочить на могилку отца, брал из багажника машины лопату, подправлял могильный холмик, вырывал сорняки и, если позволяло время и не надо было показываться в администрации, выпивал прямо из горлышка заранее приготовленную чекушку водки. Потом садился на могильную скамейку и думал о жизни, об отце, и разрывалось его сердце от невзгод, которые обрушились в последние годы на село.

— Прости, батя, — говорил он хрипло и смахивал с лица скую слезу...

* * *

Во время очередного «гостевания» у отца на погосте застал Ивана Петровича дождь. Поднявшийся ветер холодил лицо, вспыхивали молнии, туча медленно, как бы нехотя, наползала на Мыски, ворчала раскатами грома.

Иван Петрович спешно сел в машину, но почему-то не хотелось уезжать в райцентр, а хотелось плюнуть на всё: на должность, на заботы, — разуться и пробежаться босиком под дождём по улицам своего детства, беззаботно на всю округу запеть незамысловатую припевку:

Дождик, дождик, пуще!

Дам тебе гущи!

Дам хлеба каравай —

Сильней поливай!

— Давай заедем к Полине Болотовой. Огненная была баба, — сказал Иван Петрович шофёру.

Пока ехали до дома Полины, думалось главе администрации о прошлом, и всплывала из доньшка бывшего Полина, ядрёная, крепкая, острая на язык и жадная до работы. Вспомнился скандал матери с отцом — приревновала мать отца к Полине. Было ли там у них что или не было, знают только ветер да полынь за селом на пустыре, где якобы видели деревенские двух «воркующих голубков» — председа-

теля колхоза да ударницу труда Полину Болотову. И об этом давнем семейном скандале Иван Петрович вспомнил с улыбкой. Даже неприятности из прошлого греют сегодня, через годы, непонятным теплом озябшую душу...

Полина встретила главу администрации сухо, обычно, как будто зашёл к ней в дом не крупный районный начальник, а надоедливый сосед, чтобы занять денег на поллитровочку. Она распахнула окно, впуская в дом шум дождя и сырую свежесть идущего на убыль летнего дня.

— Будешь есть? — спросила она запросто Ивана Петровича.

— А что у тебя на ужин? — поинтересовался гость.

— А что есть, то и хорошо... С хлебом только туго — не возят нам хлеб в Мыски вот уже больше года. Пеку из остаточной ещё с колхозных времён муки лепёшки. Картоха есть отварная, чай из трав. Замеришь червячка, если голоден.

— Спасибо, сыт. Заехал, чтобы узнать, как здоровье, как живёшь-поживаешь? Может, помочь чем?

— Брезгую я нынешней властью — от неё мне подачек не надо. Опоздала власть с помощью. Пять старух в Мысках осталось. Скоро все уйдём на поселение, к твоему родному отцу. Вымрем все...

Дождь прошёл. Из недалекого леса половодьем натекли на Мыски сумерки; разрушенные, брошенные на произвол судьбы подворья казались разбитыми кораблями, небрежно выброшенными волной на берег. Иван Петрович тяжело вздохнул и на прощанье сказал молчаливой и грустной Полине:

— Приеду на днях... Не чужая мне деревня. И вы не чужие...

Глава администрации сел в машину, виновато и зло хлопнул дверцей кабины.

— Без людской благодарности живут люди. Брошены на произвол судьбы. Стыдобушка, — сказал он вслух и замолчал.

Ни слова не произнёс он до самого дома. Не раздеваясь, сразу набрал номер квартиры директора хлебоприёмного пункта.

— Савёлыч, подготовь к завтрашнему дню пять мешков муки. Бабусям в Мыски надо отвезти. Голодают бабки. Как спишешь? Спиши на воровство. У тебя воруют хлеб работ-

нички — только шуба заворачивается. В общем, после обеда заедет мой шофёр — загрузи муку в багажник...

* * *

Когда Иван Петрович подъезжал к Мыскам, солнце шло к закату. По небу плыла лёгкая облачная наволочь и светило, прорываясь сквозь неё, напоминало кусок речного льда, который холодно тает и растворяется над деревней его детства. Главе администрации искренне хотелось уткнуться в ласковые колени давно ушедшей из жизни матери и, как в детстве, вволю наплакаться...

Старушки принимали муку со слезами на глазах, готовые подобострастно лобызать руки Ивана Петровича и кланяться, словно барину...

«До чего мы унизили людей! Не демократия это, а крепостное право... — думал с печалью в сердце глава администрации. — Шапки нужно перед этими людьми снимать. Носить на руках».

Ивану Петровичу хотелось крикнуть на всю Русь, на весь мир:

«Прокляните нас, старики. Всех прокляните: меня, кремлёвских временщиков. Всю эту трухлявую беспомощную власть. Вы имеете на это полное право!»

Последней муку подвезли к дому Полины. Она, съёжившись мятым клубочком, сидела на крыльце. Когда водитель, кряхтя, разгрузил багажник и поставил мешок рядом с хозяйкой, та вопросительно посмотрела на Ивана Петровича:

— Что это?

— Муки привёз тебе, Полина. Пеки лепёшки, пирожки — всё легче будет.

И Полина встала с места, заохала:

— Ох, ох... Пожалели, супостаты. Я не нищая. Не хочу жить на подачках. Не хочу. У меня в сусеке есть ещё мучка из колхозного зерна. Она мной заработана, а значит, вкуснее...

Полина вдруг нахохлилась, словно несущка, и смачно плюнула в сторону нежданного благодетеля. Налетевший ветерок подхватил Полинин плевок и бросил его на начищенный ботинок Ивана Петровича.

Вспомнив подобострастие старушек, их жалкие благодарности, глава администрации внезапно повеселел.

— Спасибо, Полина, твой плевок — как подарок. Осталась у тебя прежняя гордость. Святой плевок...

Иван Петрович достал из кармана пиджака носовой платок, вытер заплыванный ботинок, выбросил платок за плечень и бодро пошёл к машине. И уже из кабины, приоткрыв дверцу, ещё раз крикнул:

— Спасибо, Полина!

Возвращался в райцентр Иван Петрович в хорошем настроении — не всё потеряно, остались гордые люди в России, знать, она возродится. Он улыбался пролетающим за стеклом машины кустам, заросшим без хозяйского глаза полям и шептал еле слышно слова из букваря:

— МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ!..

ГРИЛЬ В ДЫРКЕ

— А что, бабоньки? — обратился председатель акционерного общества «Толстая былка» Иван Силыч к дояркам. — Работаете вы хорошо, с молочным прибытком, — поезжайте в город, охолоните от забот, купите что нужно ребятишкам. Им скоро в школу. Выделяю вам автобус...

— Проветриться не грех, Иван Силыч, вянем здесь в назме... Но денег — кот наплакал. Зарплата — что кратер на обратной стороне Луны, даже в телескоп не рассмотришь, — ответили доярки.

Иван Силыч загадочно ухмыльнулся в рыжие усы:

— Учёл запрос. Распорядился, чтобы бухгалтер выдал вам по триста рублей аванса на каждую, так сказать, грудь...

— И на мою грудь триста? — спросила с ухмылкой дородная доярка Фёкла. — У меня от груди фуфайка трещит. А объём, сам знаешь, в две мужские ладони одна сиська не входит. Прибавь аванса, Иван Силыч.

Председатель посмурнел, ёмко крякнул, бабы дипломатично и вежливо захихикали...

Иван Силыч объёмы груди Фёклы знал не понаслышке. Года три назад в кормоцехе на соломенной подстилке их персонально исследовал. Этот служебный роман был всем известен. Маленькая, щуплая супруга Ивана Силыча Полина приходила на ферму бить морду Фёкле, но та

встретила её оледенело, отмахнулась от Полины, как от мухи...

— Охолони... Силком он меня взял, разбойник... А то, что не сопротивлялась, так коров боялась напугать шумом. Сама знаешь, корова — животина нервная, надои могут упасть...

На этом конфликт был исчерпан, Полина по-своему поговорила с мужем, огрела его для профилактики кочергой по горбьяке, и Иван Силыч с тех пор объёмы Фёклиных грудей измерять не пытался...

От центральной усадьбы АО «Толстая былка» до города сравнительно недалеко. Каких-то километров двадцать. Кургузый «пазик», ещё советского выпуска, шустро, с причмокиванием бежал по немощёной насыпи, в кюветах тут и там валялись узлы брошенных сельхозмашин. Всё, что можно было сдать на приёмные пункты, с них сняли, и сиротливые остовы инвентаря напоминали высушенные от солнца и ветров скелеты загадочных доисторических животных.

Доярки со времён перестройки из-за полного безденежья не выезжали за пределы «Толстой былки» и поэтому с любопытством смотрели на окружающий ландшафт. Много изменилось в нём: там, где лет десять назад было синее поле, стеной стояли молодые осинки, маленькая попутная деревня Упыри заросла крапивой и лебедой, дома порушены, окна заколочены деревянными крестовинами. Кругом тлен, разрушение... И только чёрная туча вдали, которую изредка стегали вразмах от края до края молнии, успокаивала душу. Несмотря на общую разруху, природа не умерла и живёт по своим вековым законам.

Когда подъезжали к городу, по салону автобуса горохом ударили капли дождя. С ослепительным гулом прошёлся над крышами домов гром...

— Будь ты неладна. Придётся переждать непогоду в автобусе, — вздохнула Фёкла. — Невезучие мы, бабоньки. В какие-то веки в город вырвались... и на тебе.

Водитель Матвей тоже расстроился, ему было душевно жалко доярок — не для того они ехали в город, чтобы убивать время в грязном салоне автобуса.

— На базар вам, бабоньки, знамо дело, пока нельзя. Пушай дождь остепенится. Займитесь каким-нибудь меро-

риятием — сделайте духовную вылазку в кино или музей, впитайте городскую культуру в свои трудовые души, — посоветовал он.

— Какая сейчас культура? Трень-брень да пупок голый. На наши деньги не развернёшься: билет трамвайный — и тот в убыток...

Доярки уныло смотрели в окна.

Проплывали обочь улицы, витрины магазинов с голыми девицами, на стендах красовались кирпичные рожи современных вождей, торговые точки носили непонятные, ненашенские названия.

— Скучно, девки, живут городские. Как в телевизоре, — пробурчала молодая доярочка Анька.

— Словно в коробке из-под ксерокса, — поддержала Фёкла.

Водитель Матвей притормозил автобус у подъезда старого кирпичного здания. У входа красовалась вывеска: «Выставка художника Льва Шелихвостова «Лики времени». Масло, акварель, графика. Вход свободный».

— Сходите, бабоньки, на картинки посмотрите. Всё веселей, чем сидеть в салоне.

— И то ладно, — ответили доярки и вышли из автобуса...

Художник Лев Шелихвостов, юркий человек, напоминающий маленькими очками Добролюбова, до перестройки работал в традиционном стиле социалистического реализма: писал портреты передовиков, членов Политбюро для демонстраций, воспевал кистью великие стройки коммунизма. И жил — нос в табаке. Теперь спрос на передовиков и стройки резко упал, и Шелихвостов, следуя велению времени, занялся художественным новаторством — ляпал на холсты краски, размазывал их решительно кистью и пальцами и придумывал творениям замысловатые названия, например: «Дыхание распятого Христа», «Привидение в бывшем райкоме», «Сбруя и иней» и так далее. Художник так мудро и ловко размещал на полотне краски, что зритель, имея даже хилую фантазию в душе, действительно мог увидеть в калейдоскопе красочных наложений и сбрую, и туман, и привидения. Крути не крути, а творить такие загадки тоже нужен талант. А им, талантом, Шелихвостов, надо со- знаться, не был обделён.

О выставках Шелихвостова взахлёб и одобрительно писала пресса, и художник весь, с головой, ушёл в вязкую славу и сам себя стал считать новатором и даже гением...

Когда доярки акционерного общества «Толстая былак» зашли на выставку, Шелихвостов искренне обрадовался. Такого группового посещения вернисажа людьми труда давно уже не было. Он расцвёл в благодарственной улыбке, приветливо приподнял над затылком заляпанный красками берет, рыцарски развёл руками:

— Милости прошу, дамы...

— Здрасьте, — ответили хором доярки, светлея от удовольствия. Они не ожидали, что их так хорошо здесь встретят.

— Вам повезло, дорогие гости. Я, как творец, сам проведу экскурсию, поведаю о принципах своего творчества и философских тенденциях в смысле поиска истины всего сущего.

— Расскажи, милок, коль время есть, — ответила за всех Фёкла.

Шелихвостова несколько покорило, что его так запросто назвали на «ты», он через силу улыбнулся, разрезав полумрак выставочного зала золотым блеском одинокого зуба...

— Эта работа у меня называется «Гриль», — сказал художник и подвёл доярок к небольшому полотну. — Видите, основной цвет здесь — алый, это смысл огня. А в центре красного — жёлтый шлепок, извиняюсь, мазок. Он олицетворяет общипанную курицу как наличие истины. Ещё Маяковский сказал: «Мы все немного курицы, каждый из нас по-своему курица». Некоторые критики из «Комка», «Сегодняшней газеты» увидели в этой работе сексуальное начало — женский детородный орган. Такая трактовка имеет право на жизнь и не противоречит моему замыслу: и гриль, и женские органы, и курица имеют одно начало — Космос...

— Ишь ты как! — воскликнула одна из доярок. — Вот что значит — художник! Я бы вовек не догадалась. А это, оказывается, гриль, извиняюсь, в отверстии...

Шелихвостов через добролюбовские очки с благодарностью посмотрел на доярку:

— Я искренне рад, что вы верно осмыслили художественно-эстетическую ценность полотна...

Следующая картина, к которой подвёл Шелихвостов доярка, называлась «Автопортрет». Работа была выполнена в аспидно-зелёной тональности: в центре полотна был изображён круг, от которого стекали вниз, как вялые щупальца убитого осьминога, засохшие струйки крови...

— Иной раз для решения художественного замысла, его вековой нетленности достаточно мгновения. Но на поиск этого мгновения уходит вся жизнь. Шёл я к «Автопортрету» через муки и бессонные ночи. И вот результат. Зелёный неровный круг — это бытие, загадка и непредсказуемость нашего существования на этом свете. Это, если хотите, Космос. Мы все — дети света, тьмы и космического пространства. «Автопортрет» не только мой. Это новаторское обобщение всего человечества и каждого индивидуума в отдельности...

— А на стенку ваше изделие можно вешать? — спросила доярка Прасковья. — Рамка дюже красивая.

Шелихвостов Прасковье ничего не ответил, только нервно блеснули в сторону доярки стёкла его очков. Он перешёл к объяснению следующего произведения:

— А эта работа несколько сложнее предыдущих. Если в тех я осмысленно играл светотенью и вкладывал смысл больше в краски, чем в образ, философствовал кистью, то в этой картине есть намётки реалистических деталей: видна пластика женского розового плеча в сумрачном затемнении, на переднем плане — объёмная женская грудь в виде храмового свода, а дальше, под грудью, еле заметная розетка пупка, чашечка колена, ниже — загадочная и зовущая чернота, пробитая насквозь красными вкрапинами охры. Это символ страсти, любви, продолжения рода...

— Почему в грудь вбит гвоздь? — спросила решительным баском Фёкла.

— Это не гвоздь, госпожа. Это... м-м-м, коричневый женский сосок, из которого вскормлены мы все, в том числе и вы, госпожа...

— Какая я тебе госпожа?! — возмутилась вдруг Фёкла. — Вешаешь тут лапшу на уши. Гриль, грудь, детородный орган, Космос. Пародии ты рисуешь, а не картинки. Твои бабы забеременеть не могут ввиду их полного уродства.

Шелихвостов растерялся, нахмурился, спрятал свой блестящий зуб в сурово сдвинутые губы, его очки вспыхнули злобным светом...

А Фёкла разошлась не на шутку. Она вдруг резко расстегнула чуть ли не до пояса платье и вывалила из лифчика перед художником, как пудовую головку сахара, огромную крепкую титьку.

— На, художник, помацай... Это ли не Космос? А то рисуешь дурь! Контуженный...

О, если бы видели дорогие читатели, что за титьку показала Шелихвостову доярка Фёкла! Нет, это не титька обычной деревенской бабы, это — осколок от древнеримской статуи, когда божеством красоты и совершенства была женщина. В полумраке выставочного зала от Фёклиной титьки исходило божественное сияние, которое затмило своим светом все краски художника Льва Шелихвостова, а сам он внезапно скукожился, согнулся и исчез в темноте за колоннами...

— Порченный народ, порченный... Семьдесят лет коммунисты портили трудящихся социалистическим реализмом. И вот результат — ничего они не понимают в искусстве, — шептал Лев Шелихвостов сухими губами, уходя в тень, в небытие...

Фёкла по-хозяйски уложила обратно титьку в лифчик, застегнула платье и громко, заливисто захохотала.

— Ну, как я его, очкарика? — спросила она.

Бабы зашумели, завокали, смеющейся гурьбой вывалились из зала и ринулись к автобусу.

— Как впечатление? — спросил водитель Матвей.

— Превосходное, — ответила за всех Фёкла. — Главный экспонат выставки везём с собой в «Толстую былку».

Фёкла положила могучие рабочие руки в трещинах и ссадинах от доек и вил на свои огромные, выпирающие из платья, готовые вот-вот взорваться лавой аппетитные груди...

— Для Силыча везём экспонат, — съехидничала доярка Анька.

Настроение у Фёклы было приподнятое, и она ничего не ответила на подкол подруги...

...Дождь, слава Богу, перестал. Далеко за городом проклюнулись из-за слабеющих, отходящих вдаль туч солнечные лучи, отблески их гасли и вспыхивали в грязных городских лужах, где в брызгах от колёс машин то появлялись, то исчезали маленькие голубые радуги...

Шофёр Матвей остановил автобус у ворот рынка «Взлётка». Здесь товар подешевле, и даже на нищий аванс, выданный председателем АО «Толстая былка» Иваном Силычем, дояркам можно кое-что купить детям в школу. Первое сентября не за горами.

ЗЕЛЁНОЕ СОЛНЦЕ

Гражданин нашего посёлка Сергей Сергеевич — очень хороший человек. Он сильно любит всех жителей Земли, включая бездомных собак, кошек и голубей...

У Сергея Сергеевича серые, доверчивые, незамутнённые злым умыслом и нехорошей завистью глаза, они излучают такое тепло, что хочется в холодный день поднести к лицу Сергея Сергеевича озябшие руки, чтобы отогреть их, словно в ласковой деревенской печурке. Нос у Сергея Сергеевича торчит маленькой пипочкой и всегда с мокротой. Сергей Сергеевич ловко и совершенно интеллигентно вытирает нос рукавом куртки, отчего рукав блестит от манжеты до изгиба локтя...

Я лично уважаю Сергея Сергеевича за бескорыстие и мудрость, за общительность, часто беседую с ним, потому что говорить с Сергеем Сергеевичем — одна радость: светлеешь душой и сердцем и начинаешь сознавать, что не перевелись ещё на белом свете настоящие люди.

На днях спускался Сергей Сергеевич по лестнице подъезда в белых сапожках с железными подковками. Сильно он топал сапожками по бетонным ступенькам, и правильно делал, так как ни у кого в нашем доме не было такой красивой обуви. Тихо ходить в красивых сапожках — большой грех, иначе встречные люди могут равнодушно пройти мимо и не заметить в спешке обновку.

Увидев меня, Сергей Сергеевич привычно вытер рукавом под носом, расплылся в широченной улыбке и стал похож на довольного лягушонка, который нежится под грибным дождём на влажном листе болотной лилии.

— Посмотрите, дядя, какие у меня сапожки, — поднял он высоко ногу и прищёлкнул от удовольствия языком.

— Хороши, хороши... Первый раз вижу такую красивую обувь, — удивился я.

— Это ещё не всё, — засмеялся Сергей Сергеевич, довольный, что вот так сразу, без «кина», наповал поразил и ошарашил взрослого человека. — По бокам на сапожках приделаны жёлтые утятки. Вот здесь, под штанами...

Сергей Сергеевич приподнял гачи толстых вязаных штанишек.

— Ничего себе! Вот это да! Надо же... Мне б таких птичек, как легко бы ходил я по улицам. Может быть, даже вприпрыжку.

Сергей Сергеевич опустил гачи, сочувственно засопел носом:

— Большим дядям такие сапоги не шьют...

— А зря, наверное? — спросил я Сергея Сергеевича.

— Конечно, зря, — убеждённо поддержал он меня. — Всем людям надо продавать красивые сапожки, чтобы люди были тоже красивые и весёлые...

Сергей Сергеевич пошел вниз, выбивая яростную дробь железными подковками...

* * *

На той неделе Сергей Сергеевич кормил голубей. Он бросал птицам горстями замоченные крошки из железной голубой чашки. Голуби жадно клевали хлеб, а рядом серые пыльные воробьи подбирали остатки крошек. Сергей Сергеевич был очень доволен собой, сиял, словно начищенный наждачной шкуркой медный тазик.

— Хорошо клюёт? — спросил я Сергея Сергеевича.

Спросил просто так, без всякого смысла, просто стыдно молчком проходить мимо хорошего человека и не сказать ему какого-либо приятного слова.

Сергей Сергеевич вывалил из тарелки остатки сырых крошек птицам и спросил:

— А что бы вы, дядя, делали, если бы у вас выросли крылья?

— Полетел бы над землёй, наверное... — неуверенно ответил я.

— А куда?

— Гм, гм... не знаю. В Африку слетал бы или на Алтай, где жил в детстве...

Сергей Сергеевич вытер нос рукавом куртки, хлопнул по луже на тротуаре белым сапожком. Веером взлетели красные от застойной ржавчины брызги, словно крупные, блестящие рябиновые ягоды...

— А я так думаю, дядя... Людям крылья не нужны. Иначе они будут все летать куда попало, куда на ум взбредёт, и на Земле некому будет жить. Она придёт в запустение...

Что я мог сказать в ответ Сергею Сергеевичу? Прав он, чёрт дери, прав. Крылья для человека, действительно, баловство. У нас и без крыльев много порхающих двуногих существ, живут они без особой натуги, мельтешат незаметно над земной поверхностью и уходят туда, куда все уйдём, не оставив ни следа, ни доброго помысла.

Я сел у подъезда на скамейку, чтобы подумать над словами Сергея Сергеевича. Они ведь не зря были сказаны. Над головой висело голубое и ясное небо. Земля отдала за лето травам, деревьям и овощам свои соки. Пахла она скорой осенью. Горизонт упирался в блёклую кромку земли, но не манил он меня вдаль, не привораживал загадкой. Потому что там, за горизонтом, не было для меня никакой надежды на счастье...

А потом, ночью, снился мне сон: взлетел я всё же в небо и летал легко и быстро — ласточки не могли за мной угнаться. Внизу от края до края лежала моя Земля: с озёрами, с тайгой, с красной калиной в забоках, с высокой солнечной поленницей у домика лесника, с Кордильерами и Москвой. Я летел и кричал с высоты:

— Люди добрые! Поверьте, наша Земля очень маленькая, как вздрагивающий во сне сжатый кулачок ребёнка... Люди добрые...

Я проснулся... Вскочил с постели, распахнул форточку. Мелкие городские звёзды, как дождевая морось, сыпались на землю, а внизу, у окон первого этажа, шептались о чём-то сухие тополиные листья. Мне показалось, что я очень одинок в этом мире и навсегда заблудился в нём, потерял дорогу к людям...

Я давно не летал во сне. А вот сегодня взлетел. Подарил мне страшный и сладкий сон Сергей Сергеевич. И вдруг я понял: это мой последний сон с полётом, не будут они ко мне больше приходить ночами, не распахнётся надо мною мир даже во сне. Никогда не распахнётся....

* * *

Осень шла хозяйкой по городу, рассыпала торопливо по улицам мокрые листья, заполнила окраины волглым запахом грибов из поредевшего недалекого леса. Город давно не видел солнца и казался пустым и вымершим.

Последнее время Сергей Сергеевич со мной не встречался. Или мать его реже стала выпускать на улицу, или прохудились его белые сапожки с жёлтыми утятками на голенищах. А без Сергея Сергеевича, сами понимаете, не та жизнь, скучнее идёт она, и полностью приостановился мой духовный рост, потому что общаться приходится только со взрослыми людьми. А взрослые люди хоть и говорят разными голосами, выкаблучиваются эрудицией и общей политической и общественной начитанностью, а по сути мыслят одинаково: все разговоры сводят к дороговизне одежды с индексом «Н», говяжьего мяса в кооперативных магазинах да к деньгам, которых сколько ни получай, а всё равно не хватит! Скучно жить, дорогие товарищи, когда тебя окружают только взрослые люди...

Вот поэтому я несказанно обрадовался, увидев спускающегося навстречу мне по ступенькам подъезда Сергея Сергеевича. Он был всё в тех же белых сапожках, правда, теперь уже не в новых, а поблёкших, потрескавшихся. Но подковки ещё не отлетели от подошв: стучали они по бетону с боевым цокотом.

Сергей Сергеевич держал в руках лист бумаги, вырванный из школьной тетради.

— Это что у тебя за документ? — спросил я его.

— Это не документ, а пейзаж... Солнце здесь нарисовано и птички...

— Покажи...

Сергей Сергеевич охотно протянул мне бумагу. Я развернул её и посмотрел на рисунок. Я увидел нарисованное зелёным фломастером солнце, а от него по всему листу распластались жирные, словно гусеницы, зелёные лучи, и летели куда-то, купаясь в солнечном тепле, красные загадочные птицы...

— А почему у тебя зелёное солнце? — спросил я Сергея Сергеевича.

— А как же? — удивился он моему вопросу. — Если его всамоделишным, огненным, нарисовать, то смотреть на картину будет нельзя. Слёзы потекут. А так хорошо. Смотри сколько хочешь...

Я вернул рисунок Сергею Сергеевичу и смущённо начал оправдываться:

— Поглупел совсем... Из-за общей недоразвитости и тупости не догадался, почему солнце зелёное. Оно и должно быть таким. Куда ты, Сергей Сергеевич, понёс его?

— Да так, — смутился он.

— Скажи, не утаивай от друга.

— А вы не будете смеяться?

— Нет, конечно...

Сергей Сергеевич посмотрел по сторонам — не подслушивает ли нас какой скучный человек — и тихо сообщил:

— Я солнышко на улицу выпущу... Оно сегодня не взойдёт, потому что далеко ему лететь до неба, а завтра или послезавтра взойдёт. Снова тепло будет на улице, и лужи высохнут...

Сергей Сергеевич вытер нос рукавом куртки и пошёл своей благородной дорогой...

А на следующее утро действительно взошло солнце, и чистая удивительная сила исходила от него. Наступил погожий день, пели неистово птицы в опустошённых ветрами тополях, и не было на сердце тревоги. Осень выдалась на радость всем — тёплая и ясная, так и хотелось существовать в этом мире дольше, чем положено...

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАБОР С ЗОЛОТЫМИ ПЕТУХАМИ

Посвящается Николаю Ерёмину

Павел Андреевич Лепетухин до выхода на пенсию был человек как человек: работал в леспромхозе вальщиком, ничем не отличался от других людей, если не считать невинной странности — когда начинался дождь, он раздевался до полного голяка, оставлял робу в кабине трактора и ходил вокруг валочной машины, побрякивая и постанывая от удовольствия.

На дежурке женщин — раз-два и обчёлся, да и те в основном работают на котлопункте, поэтому не надо было Павлу Андреевичу прикрывать широкой рабочей ладонью стыдное место. Он выпрыгивал из кабины на землю и с «карандашом» да «печаткой» — так называли лесорубы ломик и кувалду — подправлял, подстукивал траки. Закончив профилактическую операцию, Лепетухин задирает острое лицо к небу в просвет сосен, и его льяного цвета глаза выражали истинное счастье...

Дождевые тучи над тайгой ходят всегда низко, почти касаясь клубящимся живым брюхом вершин деревьев. У Лепетухина перехватывало дыхание от такой тревожной красоты, и ему казалось, что он плывёт один в бушующем море, борется со свирепыми клыкастыми волнами, и не таёжный дождь обмывает его тело, а жгуче бьют в лицо солёные океанские шторма, и вот-вот он пойдёт ко дну, исчезнет навсегда в зеленоватой вечной пучине. Лепетухину хотелось крикнуть на весь мир:

«Э-ге-гей! Люди, не поминайте лихом!..»

Но кричать так он стеснялся, а отмыв дармовой небесной водой земные свои грехи, забирался в кабину, одевался и продолжал ударно работать. После дождевых процедур Лепетухин выдавал до конца смены по две нормы.

— Благодать-то какая, — шептал он. — Словно заново народился...

Но вот отправили Павла Андреевича Лепетухина на пенсию в здоровом и сильном возрасте — 55 лет. В лесу так предусмотрено. Преподнесли ему товарищи по работе на прощание Почётную грамоту, подарили спиннинг, пожали правую руку и на этом закончили процедуру проводов. Иди, дескать, с Богом, Лепетухин, на заслуженный отдых — доживай своё, и нет у тебя, Лепетухин, никакого просвета впереди, а только ждёт финиш в виде жёлтого песчаного холмика на тихом поселковом погосте...

Павел Андреевич поначалу не находил себе места, вставал по привычке рано, смотрел льяным взглядом в окно, вздыхал.

— Спал бы, что делать... — говорила жена Мария Ивановна...

— Тебе легко рассуждать. Ты привычная, — отвечал печально Лепетухин. — А мне не до сна... Как будто соску отнял...

Но долго не скучал Павел Андреич. Подошли майские праздники, и Лепетухин сделал большой красный флаг, нарисовал на нём белой эмалью серп и молот и водрузил алое полотнище на крыше дома. И как-то незаметно разошёлся, повеселел и, не остужая ворвавшегося вовнутрь, к сердцу, трудового энтузиазма, покрасил заодно зелёной краской наружный забор и для красоты намалевал на нём золотистых и весёлых петухов. Впечатлительно получилось...

Сосед по дому, замдиректора леспромхоза по быту Каплуненко, проходя мимо Лепетухина, недовольно пробурчал:

— Ты что общий фон улицы портишь? Не согласовал ни с кем. Дом-то ведь не твой личный, а леспромхозовский. Прекрати самовольство!

Лепетухин удивлённо и непонимающе уставился на замдира, соображая, что ответить, но ничего не смог придумать в оправдание, а только встревоженно заморгал ресницами:

— Так это же красиво, Ван Ваныч...

— Одинаковость нарушать не дозволено. Проект есть проект, в нём не предусмотрена попугайская раскраска...

— Не серчай, Ван Ваныч, я хотел как лучше.

Замечание замдира не шибко понравилось Лепетухину и расстроило его не на шутку, но преодолеть свой трудовой порыв он уже не мог, руки сами тянулись к работе, сердце требовало успокоения в полезном деле. Павел Андреич заменил подгнившие доски на уличном общественном тротуаре напротив ограды, отремонтировал переброшенный через дорожный кювет въездной настил; отошёл подальше, на противоположную сторону улицы, издали осмотрел свою усадьбу.

«Что ты там не говори, Ван Ваныч, а всё же хорошо у меня получилось, — продолжал мысленно спорить Лепетухин с замдиром. — А то серо всё, неухожено, дома типовой серии № 85 — что солдатские казармы, не веселят глаза. Так что извини, Ван Ваныч, но ты не прав...»

Однако украшать усадьбу Лепетухин перестал, решил не касаться к дому — пусть стоит, как хмурый и недовольный человек в нескончаемой уличной очереди, раз так предусмотрено.

«К-хе, к-хе с ним, с домом. Найдём другое душевное дело», — подумал Лепетухин...

Что сооружал в ограде Павел Андреевич из выписанного на леспромхозовской пилораме горбыля, попервости никто не догадывался.

Знакомые прохожие, перевалившись головами через забор с золотыми петухами, спрашивали:

— Али что задумал? Крольчатник, что ль?

— Бери выше, — смеялся Лепетухин.

— На свинюшник не похоже, длинновато стенами...

— Без фантазии вы... Серость. Ни в жизни не догадаться. У меня в этом помещении будут жить очень важные птицы, у которых зоб колесом и весь в железяках...

И только тогда, когда Лепетухин начал вырезать из горбылей и прибывать сверху двурогие зубцы, а по углам рубить башни, догадались люди, что строит он во дворе дома кремль. В глазах леспромхозовской ребятни авторитет Лепетухина поднялся на недостижимую высоту — они облепили, как разбойные воробы, забор, спрашивали:

— А царь-пушка будет, дядя Паша?

— А как же... Пушка будет. Памятник Минину и Пожарскому трудно вырубить, таланту не хватит, а царь-пушку сделаю.

Взрослые люди ухмылялись, надсмехались над Лепетухиным:

— Давай-давай, сооружай! Москву закроем и в Яркино переведём. Будет посёлок сердцем страны...

— И то ладно, — добродушно соглашался Лепетухин. — Ущерб от такой передислокации не будет. Наоборот, польза. Эти, как их, бюрократы все в Москве останутся. Корнями они там в асфальт вросли, не оторвать, а сюда, в Яркино, свежие люди для руководства Родиной приедут. Вспомните, Пётр Первый и Ленин сначала столицы перенесли, а потом преобразования в России начали делать...

Вечером, когда Лепетухин почти заканчивал работу и набивал на «Спасскую башню» звезду, к его дому подошла основная власть посёлка Яркино в составе замдира Каплуненко, предсовета Мокренко и парторга леспромхоза Гаенко.

— Ишь, что задумал, — обратился Каплуненко к спутникам. — Изгаляется над святым местом. Строит из горбыля нашу каменную гордость...

— Кто разрешил? — в упор грозно спросил предсовета Мокренко.

— Аполитично это, товарищ Лепетухин... Разве можно так? Если каждый будет кремль строить, то что получится? Срамота, — поддержал их парторг Гаенко.

— Если не разрушишь сооружение, оштрафуем, — заявил Лепетухина председатель поссовета.

Павел Андреевич заморгал глазами, сник:

— Да вы что? Я без всякого смысла. Просто так. Занять делом руки. Для внучат игрушка. Обещали скоро подъехать, — залепетал Лепетухин.

Председатель поссовета Мокренко тяжело вздохнул, крикнул, покашлял в кулак:

— Ты, Павел, не обижайся... Мы ничего не имеем против кремля. Но здесь у нас товарищи из района бывают. Как они к этому отнесутся — кто знает? Ты бы лучше избушку на курьих ножках срубил или Белый дом...

Лепетухин смотрел жалобно на местную власть, не знал, что сказать в своё оправдание:

— Оно ить как выходит... А я-то думал по тёмности, что ничего...

Парторгу Гаенко стало жалко Лепетухина, что-то в его душе надтреснуло, зазвенело, словно кто-то коснулся добрыми пальцами потайных здравомыслящих струн души.

— Ладно, оставь сооружение — только убери звёзды и башни, — разрешил он.

— Смысл теряется, — ответил печально Лепетухин.

Супруга Марья Ивановна стояла на крыльце, слушала упрёки властей, вздыхала:

— Говорила я тебе, Паша, что пустая затея... Иди лучше кваску попей...

Когда представители властей ушли, Лепетухин взял топор и порушил кремль...

— Вот и порадовал внучат. Надо было предварительно дураку согласовать задумку. Заявление написать. Ну ладно, и на старуху бывает проруха, — ругал он себя.

День выдался тёплый и солнечный. Висела над тайгой синяя дымка. Где-то горела тайга. Еле уловимый запах гари доносился до села Яркино. Но на востоке, подсвеченная заходящими лучами солнца, за клубилась дождевая туча.

— Это хорошо, это кстати, — обрадовался Лепетухин. — Забьёт вода огонь...

И вот увесисто ударил по лопухам, по вздрогнувшим листьям свёклы и подсолнечника слепой дождь. Озарённые солнцем, падали крупные капли, как будто кто-то сыпал с неба из дырявого лукошка спелую клюкву.

Лепетухин зашёл за сарай, разделся догола и долго стоял под дождём, пока не начал коченеть от прохлады...

— Смыл дурь, смысл, слава Богу, — сказал он.

Дождь перестал. Из скворешни, что прибил Лепетухин на задах огорода этой весной, выскочил молодой скворец и гортанно крикнул:

— Паша, Паша...

В голосе его была еле заметная интонация супруги Марии Ивановны. А потом скворец запел, затрещал, затренькал. Казалось, что он хотел воспроизвести своей песней все живые звуки тайги и посёлка вместе с лаем собак и скрипом колодезного журавля, с рёвом дизельных моторов и разухабистыми матершинными песнями местных бичей. Но в густоте и разнообразии звуков проявлялась мелодия любимой песни Лепетухина «Хороши весной в саду цветочки». Он часто слушал эту пластинку, выставив в окно дома колонку радиолы. Наверное, подслушал скворец мелодию, впитал её в птичью чуткую душу и сейчас воспроизводит песню для Павла Андрееича.

— Ишь ты, стервец! Ну прямо Лемешев или, как её, Алла Пугачева, — засмеялся Лепетухин. Настроение у него поднялось, легче стало жить на земле.

Лепетухин перешёл через огород в избу, попил кваску. На листьях, переливаясь, играли густым светом дождевые капли. Они под собственной тяжестью скатывались вниз, звенели тонко и весело.

— Чёрт с ним, с кремлём! Займусь не запретным делом, — решил Лепетухин, и в его глазах поселилось спокойствие, а в душе умиротворённость...

* * *

Павел Андреевич Лепетухин, не мешкая, не откладывая дела в долгий ящик, приступил к сооружению из горбыля порушенного кремля птичьих домиков. За лето он сколотил ровно сорок скворечников и уложил их штабелями в стайке, загромоздив её почти полностью.

— Рехнулся умом мужик, рехнулся. В детство впал, — всплёскивала в расстройстве руками супруга Марья Ивановна.

— Глупая ты, Маша, — оправдывался Лепетухин. — А если бы я от пенсионерской скуки водкой увлёкся? Тогда как?

— Живи как знаешь, — отвечала Марья Ивановна. — Люди вот только надсмехаются...

— Ну и пусть... Они почти все порченые...

* * *

Когда я этой весной приехал в Яркий леспромхоз по делам службы, то первым делом навестил Павла Андреевича Лепетухина. С ним мы были знакомы давно. Писал я о нём в газетах неоднократно как об ударном передовике лесоповальной вахты. Павел Андреевич уже развесил все скворешни по подворью, с нетерпением ждал пернатых гостей. Его двор напоминал чем-то встревоженного дикобраза, который оцетинился иголками, готовый проколоть ими любого опасного зверя. Ярковцы вспахали огороды, кое-кто уже высаживал на грядки чеснок и морковь, не пахал огород только Лепетухин.

— Ополоумел мужичонка-то мой, — жаловалась мне добрейшая Мария Ивановна, выставляя к чаю на стол пирожки с брусникой. — Говорит, антихрист, что будет пахать перед прилётом скворцов.

— Всё верно, — соглашался с ней Лепетухин. — А как ты думала? Скворцам с дороги живые черви и личинки нужны. Вот и будут их искать в нашей свежей паханине. Привыкнут к месту, к подворью и поселятся без робости в квартирах. Как-никак, а на сорок пар подготовлена жилплощадь...

Я, если честно, не понимал Павла Андреевича, не мог уразуметь, зачем ему потребовалось такое обилие птиц, колготни от которых на усадьбе будет много, а практической пользы никакой. Но спросить об этом хозяина стеснялся. Боялся, что он поймёт меня неправильно и обидится. Слава Богу, сам он завёл о птицах разговор.

— Ты понимаешь, прошлый год скворец на задах огорода запел, паршивец. Прислушался, а он воспроизводит мелодию песни «Хороши весной в саду цветочки». Вот и при-

шла мне тогда мысль к массовому обучению скворцов. Пусть учат Гимн Советского Союза. Ты пойми меня правильно. Авторитет страны нужно поднимать на международной арене. Скворцы по осени разлетаются с наших мест по всему земному шару. Представь себе: сядет учёный скворец где-нибудь в Африке на баобаб или на кокосовую пальму да и запоёт «Союз нерушимый...»

Павел Андреевич счастливо засмеялся, глаза его хитровато лучились.

— Уникальное дело, уникальное дело, — подбодрил я Лепетухина.

Что я еще мог сказать пенсионеру Лепетухину, бывшему ударнику одиннадцатой пятилетки? Что?

Я уходил из гостеприимного дома Лепетухиных в растерянности и недоумении. Мария Ивановна почти силой всучила мне свёрток пирогов с брусникой:

— Дожуёшь перед сном в гостинице. Таких в леспромхозовской столовой не пекут...

Павел Андреевич проводил меня до ограды, до золотых петухов. Было прохладно, с Енисея дул холодный и влажный ветер. Лепетухин поёжился, застегнул ворот рубашки, прищурил глаза и сказал не столько мне, сколько себе:

— Вот такая катавасия... Беспокоюсь, освоят ли птицы музыку? Серьёзное дело...

На огороде заместителя директора Ярковского леспромхоза Ван Ваньча Каплуненко рабочие сооружали высокий забор, успешно отгораживали угоды руководителя от подворья Лепетухина. Сам замдира стоял на улице, на поломанном и покорёженном общественном деревянном тротуаре.

— Обустраиваетесь? — спросил я его.

Каплуненко нервно и зло махнул рукой в сторону зелёного забора Лепетухина:

— Глаза б на его выкрутасы не смотрели. Выкомаривается. До пенсии был мужик как мужик, а сейчас — того... Бандероль, видимо, из дурдома с приветом получил...

Ветер с Енисея усилился. Ночью точно будет заморозок. Я пошагал к леспромхозовской гостинице. Шёл и напевал про себя: «Союз нерушимый республик свободных...» У входа в гостиницу поймал себя на мысли, что никогда я не пел для собственной благодати гимна, а здесь, прости Господи, запел. Ах, Лепетухин, Лепетухин!..

КАК ПЕТУХА ЧУТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НЕ ВЫБРАЛИ...

Если бы нашего петуха, которого мать за выносливость и драчливый характер назвала Студебеккером, выбрали в Думу, он бы заткнул за пояс, а вернее, за крыло самого Владимира Вольфовича. Ей-богу...

Но во времена моего детства разных там дум и президентов ещё не было, а телевидение находилось в зачаточном состоянии. Студебеккер, естественно, не мог баллотироваться в депутаты, и всероссийская скандальная слава его миновала...

Зато в нашей деревне петуха знали все от мала до велика, даже собаки обходили наше подворье стороной.

Домочадцев Студебеккер не трогал. Правда, иной раз угрожающе квокал, распушив крыло, карябая им пыльную землю, атаковал для профилактики меня или брата Шурку, но до физического воздействия не доходил. Просто этой атакой он как бы говорил: знайте своё место — хозяин на дворе я. Сколько он поклевал народу — трудно сказать, о собаках я не говорю — этих четвероногих друзей человека он вообще не щадил, расправлялся с ними решительно и смело, ну прямо-таки как сегодняшний Жириновский с членами думской группировки «Яблоко».

Однажды пожаловал к нам в гости председатель колхоза Пахомыч, мужик ещё крепкий, справный и среди сельчан уважаемый.

Наш петух важно ходил среди кур, время от времени загибал дугой шею и пел, как будто готовился к важному концерту. Увидев Пахомыча, Студебеккер поперхнулся, распушив перья и зло карябая землю чёрным в красных прожилках крылом, двинулся навстречу гостю. Не успел председатель даже что-то сообразить, отмахнуться от задир, как Студебеккер подпрыгнул, взлетел на грудь руководителю и давай долбать его острым клювом в шею...

Пахомыч замахал руками, закричал матери:

— Убери этого придурошного петуха! На суп поруби!..

Петух, покуражившись, отстал от председателя и с видом победителя ходил среди куриного стада, гордо поквокавая, важно, как гусар, переступая с ноги на ногу.

Вытирая поклёванную шею платком, Пахомыч недовольно бурчал:

— Сдурел он, что ли?

— Да нет, он просто за своих кур опасается. Вон ты какой битюг справный, боится, что ты начнёшь справлять его обязанности. Потопчешь птицу...

— Ну, Марья, Марья — язык у тебя не иступился.

Слух о том, что наш Студебеккер поклевал председателя, сразу же обошёл деревню. Авторитет петуха поднялся на невероятную высоту. Деревенский люд так уж устроен — он любит, когда изгаляются над начальством. Пахомыч, надо отдать ему должное, был мудр и добр, никаких репрессивных мер против петуха и матери он не предпринимал...

А вскорости, по осени, когда убрали хлеб, заготовили дрова и сено, состоялось отчётно-перевыборное колхозное собрание. Надо сказать, что демократия тогда на собраниях была полная, с нынешней её сравнить нельзя. В колхозный клуб набилось народу, как селёдок в бочку. Не гнали с таких мероприятий и нас, мальцов...

Как и положено, крепко досталось от рядовых членов артели председателю колхоза Пахомычу: критиковали его кому не лень, вспоминали все его промашки...

Пахомыч сидел за столом президиума и что-то записывал в огромную «амбарную» тетрадь.

Слово взяла наша соседка, фронтовая вдова Гольшиха:

— Ты, Пахомыч, неплохой мужик, работающий, понятливый, но робок. Перед районным начальством робеешь. Супротив ничего не предпринимает. Скажи, зачем угодя для покосов по указанию района урезал? Почему не отстаивал наши интересы? Нельзя так. Бери пример с Марьиного петуха. Он обихаживает своё стадо, несмотря на лица, дерётся за благополучие курочек. Вот и тебя недавно поклевал. А мы, колхозники, беспомощны, как курочки... Если будешь таким покладистым, отстраним тебя от власти и выберем председателем нашей славной артели имени Кирова петуха.

Зал хохотал. Засмеялся Пахомыч. Он привык к критике и совершенно ни на кого не обижался...

Председателем снова выбрали Пахомыча. А я, по малолетству, по глупости, очень сожалел, что не Студебеккера. Я был убеждён, что из нашего клевуемого петуха вышел бы

замечательный руководитель. Какое крыло! Какой кровавой зрачок у него, когда идёт в атаку!

И просыпался наш петух первым на деревне — взлетал, словно кусок яркой зари, на забор и горланил на весь колхоз. За ним заполошно запевали остальные деревенские петухи...

ЛЮБИМЫЕ ГАДЫ БРАТА ПАВЛА

У каждого своя животины в почёте: я, например, души не чаю в собаках, моя жена, та отдаёт предпочтение кошкам, а внучка Леська «балдеет» от ящериц. А вот мой двоюродный брат Павел любил змей. Благо, этого добра у нас на Алтае после войны было видимо-невидимо — ступить куда...

Как познал брат змеиные повадки, для меня неведомо — точно знаю, что книг и инструкций по дрессировке ядовитых пресмыкающихся он не читал. Видимо, интуицией, внутренним чутьём понял брат суть змеиных душ, чтобы завоевать у них уважительное к себе отношение. В общем, змеи брата не кусали и от него не убегали, а он их десятками набирал в карманы, за пазуху рубахи и шёл на вечерку пугать девок. И не только их — парни, и те от него шарахались, как от чумного.

— Убери гадин, придурочный, а то прибьём колями твоих змей вместе с тобой, — кричали парни, но держались от Павла на крайний случай подале.

Павел, как лианами увитый змеями, хохотал и под визг девок и маты парней врывался в общий круг и плясал цыганочку. Змеи преданно обнимали Павла за шею, а некоторые, наиболее «влюблённые» в брата, «целовали» его в губы быстрыми раздвоенными жалами.

Накуражившись вволю над сверстниками, Павел уходил на берег Ануя и выпускал змей на волю. Дивились Павлу и старожилы села...

— Слово кто-то ему подсказал волшебное, — говорили старухи. — Вот и не свирепствуют гады. В цирк бы ему с такими способностями, фокусничать на диво людям...

В общем, мой двоюродный брат имел большую и заслуженную славу в деревне, был своеобразной достопримечательностью у земляков...

В те годы после посевной проходили в райцентре смотры художественной самодеятельности. Каждое хозяйство представляло на эти смотры лучшие свои таланты. Председатель колхоза Пахомыч, желая удивить жюри и районный люд доморощенным талантом, уговорил Павла принять участие в концерте.

— Труд не большой, — говорил он Павлу. — Выйдешь на сцену со своими тварями — пусть они по тебе поползают. Змей народ панически боится, а ты, так сказать, докажешь обратное — змея при хорошем к ней отношении не так страшна, как кажется...

Брат отказывался от концерта:

— Сцена — не привычная для змей среда обитания. Бог знает как они себя поведут...

— Не урость! Такого дикого номера ни одно хозяйство района не имеет. Али тебе честь колхоза не дорога?.. — убеждал Пахомыч...

Павел согласился...

Он наловил накануне чуть ли не полведра гадюк, завязал ведро марлей и поехал в райцентр удивлять народ...

Концерт был в разгаре, когда объявили его «змеиный» номер. Павел вышел на сцену, развязал ведро, для того чтобы перенести из него к себе за пазуху гадин. То ли оттого, что пресмыкающимся надоело сидеть в ведре, то ли от яркого света сцены змеи, словно чёрные живые струи воды, буквально «вылились» из посуды и спешно распозлись по сцене, выискивая для своего спасения тёмные щели. Несколько гадюк упало в оркестровую яму на музыкантов.

Естественно, в зале возникла паника; визг, маты, угрозы в адрес «артиста» слились в мощный гул, и Павел, чтобы его не растерзали зрители, смылся со сцены и убежал из клуба через задний ход...

Короче говоря, смотр районной художественной самодеятельности был напрочь сорван. Панькиным номером занялись даже соответствующие органы: несколько раз к нам в село приезжали серьёзные дяденьки в галстуках и вели следственные мероприятия. Свидетельские показания были в поддержку и оправдание Павла. Дяденьки в галстуках про-

«МАЙОР ВИХРЬ»

вели так называемый следственный эксперимент — приказали братке наловить змей и показать им лично свои способности. Что и сделано было братом в лучшем свете.

— Однако ты, парень, действительно того — с гадами живёшь душа в душу. Редкая способность, — сказали товарищи из органов и больше в деревне не появлялись. Они поняли, что на сцене районного клуба Павел «отмочил» номер без злого умысла. Так уж у него получилось. Змеи есть змеи, и редко кто знает, что у них на уме.

Председателю колхоза Пахомычу за слабую работу с народными талантами и за срыв важного концерта, как говорили, вклеили строгий партийный выговор. Я из-за малолетства не понимал, что это такое — партийный выговор и как его можно «вклеить» в живого человека, поэтому при встрече внимательно рассматривал Пахомыча, но не замечал у него ни на одежде, ни на теле каких-либо прилипших наростов. Ходил Пахомыч, как и прежде, шустро, буйно шумел на подчинённых, как и положено главному деревенскому начальнику.

Брата Павла Пахомыч невзлюбил, называл его «подколотой змеёй» и отправил с глаз подальше на всё лето присматривать на дальних выпасах за нетелями...

* * *

Лет пять назад я побывал в родном селе. Брат Павел постарел, ссутулился, прибаливает, но, несмотря на невзгоды, он по-прежнему любит змей. Правда, сейчас их стало гораздо меньше, чем во времена моего детства. Экология не та, плохая, одним словом. Но всё же окончательно змеи не перелились. При встрече с гадиной брат улыбался, говорил:

— Живи, красавица... Беречь надо как зеницу ока пресмыкающихся, — говорил он мне. — Змея — совершенно безвредная животина. Змея никогда первой не нападёт на человека. Укусить может, только когда по рассеянности человек на неё наступит. Мудрее змей я не встречал живности — они всем телом чувствуют, кто к ним идёт с добром, а кто с худом. Заметил, когда я работаю со змеями, я не делаю резких движений и стараюсь улыбаться? На, можешь сам подержать гадюку в руках...

— Что ты? Как можно? Я боюсь!

— Ну, раз так — не трогай! Змея не любит паникёров!

Майор Вихрь вставал рано, как только прорезалась заря, выходил в задубевших подштанниках на улицу, садился на грязную приступку крыльца, сворачивал самокрутку. Затянувшись натошак, он натужно кашлял, морщинистое серое лицо его напрягалось нездоровой краснотой.

— Привычка, чёрт дерит... Во рту хоть хлебная крошка, а в зубах уже козья ножка, — складно и хрипло говорил Вихрь и густо сплёвывал в прикрылечный бурьян махорочную пыльцу...

Майор Вихрь — это Семён Иванович Ковин, когда-то знаменитый на всю округу мастер-печник. Ещё и сейчас ковинские печки дымят в посёлке: по выходу дыма можно отличить их от других, не ковинских. Из ковинских печей дым идёт мягко, барашками, дымоход не вырывает тепло, не гонит искру и сажу. Экономные, жаркие печи мастерил Ковин...

Лет десять назад умерла у Ковина жена. Погоревал он, погоревал — и снова занялся своим привычным делом. Дома скучно, невмоготу было Козину. С утра до обеда он работал, а потом брал у хозяев аванс и пил. И так каждый день, пока не спился окончательно.

Теперь он жил в своей избушке-развалюшке, как птица-воробей. Питался тем, что Бог пошлёт. Главный доход — бутылки. Ходил, собирал их по посёлку, знал все места и закоулки алкашные, от глаз трезвых граждан и милиции потаённые. Шершанцы к нему привыкли и не замечали... Однажды и фамилию свою потерял Ковин, навсегда лишился фамилии.

Шёл в местном кинотеатре «Саяны» фильм про наших разведчиков. Ковин его не смотрел, но причастность к картине заимел полную. И вот почему!

Брёл Ковин по посёлку с брезентовой сумкой, полной «пушнины» — пустой стеклянной тары. Повезло Ковину — бутылок двадцать из бурьяна выудил. На три стакана бормотухи. Как раз дневная норма Ковина. Больше душа не требовала. Три стакана его организму было достаточно, чтобы жить в полузабытьи и не вспоминать прошлое... Навстречу Ковину народ двигался из кинотеатра

ра. Среди народа был Василий Иванович Барыкин, бывший заведующий отделом культуры района, а ныне профессиональный и весёлый алкаш. Не унывал никогда Василий Иванович. С шуточками да прибауточками мельтешил по свету...

— Привет, майор Вихрь, — крикнул из толпы Василий Иванович.

Засмеялся народ — удачно получилось. К месту. У Ковина как раз седой хохолок залихватски вихрился на голове от ветра. Ну, точно — Вихрь!

Так и прилипло к Ковину навсегда прозвище. С годами забыли шершанцы его настоящее имя...

Бутылки Ковин приносил домой — мыл их не спеша в дождевой кадке, ополаскивал и раскладывал, словно гранаты к бою, на лавку...

Приёмный пункт открывался только в одиннадцать.

В хорошую погоду Ковин в избу больше не входил, курил на крылечке, ждал своего часа. Слишком грустно было в избе, неухожено, не хотел Ковин встречаться с глазами покойной супруги Анастасии Ивановны. Пожелтевший портрет её висел прямо напротив входной двери, и взгляд был у Анастасии Ивановны грустный, укоризненный. Если невольно, ненароком и посмотрит на жену Ковин, то вздрогнет, съёжится:

— Не обессудь, Таисья. Так и живу. Мне без тебя так сподручнее жить... Чист я перед тобой, Таисья...

Бутылки Ковин сдавал без очереди. Его все знали и пропускали к прилавку с улыбкой:

— Смирно! Дорогу майору Вихрю!

Ковин молча выставлял бутылки в ящики. Когда «улов» был хорош, шутил:

— Мои сегодня со знаком качества...

Приёмщица совала в засохшую, грязную ладонь Ковина деньги. Он никогда их не пересчитывал, а сжимал в кулаке плотно, до боли в суставах, брёл в «Вихревку»...

* * *

«Вихревка» — обшарпанная, задрипанная забегаловка на краю Береговой улицы — была названа так в честь его, Ковина — майора Вихря!

Бормотуху Ковин пил медленно, маленькими глотками, словно английский лорд. В эти минуты ему было хорошо и спокойно.

Часто Ковина подзывали к столикам шершанцы, пытались угостить:

— Вмажь, майор, для аппетита!

Но если у Ковина были деньги хотя бы на стакан вина, он вежливо отказывался:

— Есть свои, ребята... Пейте, поправляйтесь...

Но если не было денег, то дармовщинкой Ковин не брезговал, выпивал с людьми, но не больше одного стакана. Выпив, он переворачивал посудину вверх доньшком, благодарил:

— Спасибочки, ребятки. Очень вкусно... Во рту тает на дармовщинку... Пряма-таки вафли...

Ни с кем из местных алкашей Ковин не дружил. Презирал их малость, брезговал. Пил особняком, одиночно. Вот только Василия Ивановича Барыкина любил. И хотя из-за лёгкости барыкинского языка получил прозвище — майор Вихрь, не обижался на него.

Василий Иванович вёл себя в «Вихревке» шумно, похозяйски. Если где подкалымливал, то уходил из забегаловки на рогах, в трубе...

Талантлив был чертовски Василий Иванович Барыкин. Плясал с подворотами, вприсядку. Наплясавшись, стихи складные читал про Родину. Сам их сочинял, когда руководил шершанской культурой. По пьянке песни пел старинные, сердцещипательные. И голосом Бог не обидел. Просто Шаляпин!

Когда гулял Барыкин, Ковин получал почётное место рядом с Василием Ивановичем. Чувствовал себя в такие минуты Ковин разбитным и удачливым, сам чёрт не брат. И пил много, но не пьянел, а просто отдыхал душевно.

— Ты, майор Вихрь, не задавайся шибко, — говорил ему Барыкин. — Вот в генералы возведут — тогда можно задаваться...

— Я ничё, — отвечал Ковин. — Откуда ты взял, что задаюсь?

— Мы служим с тобой единой и благородной цели, — продолжал Барыкин, — помогаем Родине крепить оборону и приобретать новым русским виллы на Средиземноморс-

ком побережье. Пропитые нами деньги, знаешь, куда идут? — Барыкин поднимал указательный палец к потолку, наклонялся, шептал на ухо Козину: — Туды идут...

Потом Барыкин отворачивался, сплёвывал:

— Ухи-то надо мыть, майор Вихрь. Лохань у тебя, а не ухи...

После такого упрёка Ковин вставал и брёл домой...

В избе он подмигивал портрету супруги, говорил:

— Ухи действительно нужно помыть, Таисия. Согрей-ка воды.

Ковин не дожидался ответа, бросался на койку и тревожно засыпал. Во сне он плакал — тонко-тонко, словно ребёнок...

Иногда заходили в «Вихревку» милиционеры, останавливались у входа, крутили на пальцах ключи от машины, помахивали — так просто, в воздухе, — дубинками-«демократизаторами», морщились. Если кто перебирал, дурел от бормотухи, милиционеры вежливо брали «клиента» под руки, вежливо вели до машины, а потом с грохотом, как мешок с камнями, забрасывали отрубившегося в кузов.

Василия Ивановича Барыкина — того брали, но редко. Любила милиция Барыкина за весёлый нрав, а ещё уважали за прошлые заслуги. Но когда план в медвытрезвителе горел, то не брезговала милиция и Барыкиным. Уезжал Василий Иванович с «Вихревки» с шиком, по-купечески. Выгробал из кармана остатки непропитых денег — кидал на стол собутыльникам:

— Завтра, после трезвяка, опохмелите... А сейчас гуляйте. Такси за мной подогнали...

Василий Иванович обнимал, как закадычного друга, милиционера, сам шёл до машины...

— Сорога ты моя краснопёрая... — говорил Василий Иванович милиционеру. — Скучал я без твоего внимания...

Милиционер подсаживал Барыкина в салон, заскакивал следом сам. Василий Иванович выглядывал из решётчатого окна «Маруси», счастливо улыбался, кричал «Вихревке»:

— Жди меня, и я вернусь, только очень жди...

После отъезда Василия Ивановича в медвытрезвитель Ковину становилось в «Вихревке» грустно и одиноко. Он допивал остатки бормотухи и молча уходил домой...

В те рассветы, когда Василий Иванович почивал в медвытрезвителе, Ковин работал напряжённо, с удалью. Его посошок-миноискатель ловко нырял во все встречные урны, щучкой пробежал по зарослям крапивы. Даже чужую территорию, рядом с больницей, где промышлял Федька Грач, «обрабатывал» Ковин. Майору Вихрю нужно было много бутылок, чтобы хватило лично ему и хватило опохмелить Василия Ивановича.

Часам к двенадцати Барыкин после трезвяка обязательно появится в «Вихревке». Никто его не опохмелит как следует, кроме Ковина. И не зря трудился Ковин. «Пушнины» набрал достаточно, для «затравки» Василию Ивановичу хватит...

Как и ожидалось, Барыкин появлялся в «Вихревке» около двенадцати. Был он помят и иной раз с синяком под глазом.

— Били, что ль? — сочувствовал Ковин.

— Не, откуда взял? Упал, очнулся — синяк...

— На опохмелку у меня есть, — робко говорил Ковин.

— Не надо жалости, товарищ майор. Ты честный человек. Добываешь «на хлеб» трудно... Не могу...

— Обижает, Василий Иванович! — Ковин жалобно морщился, и если бы были слёзы в его высушенных до дна глазах, то они бы обязательно потекли на крылечко «Вихревки»...

— Ладно, не страдай, — милостливо хлопал по плечу Ковина Василий Иванович. — Один стакан от тебя приму, но не больше...

— Там видно будет, Василий Иванович. За одним и второй вустрицей проскочит...

Деньги, вырученные за бутылки, пропивались быстро и складно. С Василием Ивановичем вообще пилось легко, бормотуха не задерживалась в горле.

Василий Иванович обычно хлопал Ковина по плечу, подбадривал:

— Хватит в майорах ходить, товарищ Вихрь. Подполковника тебе присваиваю...

— Спасибо тебе на добром слове, Василий Иванович, — улыбался Ковин...

Ковин возвращался домой, бодро открывал дверь:

— Здравствуй, жёнушка! Не ругайся. Нельзя сегодня было не выпить. Как не порадеть хорошему человеку?

Анастасия Ивановна на фотографии не отвечала Ковину, а только укоризненно смотрела на живого ещё мужа...

Вот так и жил Семён Иванович Ковин, майор Вихрь, пока не скончался. Незаметно ушёл в небытие. Возможно, и выпил что непотребное, самопальное...

Через неделю вспомнил о майоре Василий Иванович Барыкин.

— Где-то не видно товарища Вихря, — сказал он и пошёл попроведать друга. Пришёл — а уже войти в избу нельзя было без противогаса. Разложился майор Вихрь!

Хоронили Вихря скромно, за счёт Шершанской администрации. Провожали гроб с телом покойного человек шесть завсегдагаев «Вихревки». День был холодный, ветреный. Хозяйки затопили печки. Из ковинских печей шёл дым мягко, лёгкими игривыми «барашками».

Опустили гроб у края могилы. Василий Иванович Барыкин, как и подобает в таких случаях, речь произнёс:

— Ушёл от нас, товарищи алкаши, наш боевой однопольчанин, полковник Вихрь! Жил он трудно, но честно... Доконали полковника рынок и сертификаты качества. Не выдержало натуги сердце! Мир праху твоему, полковник...

Василий Иванович смахнул набежавшую слезу, высморкался и запел сильным шалашинским голосом:

«А жене скажи — пусть не печалится...

А с другом, скажи, пусть обвенчается...»

Потом Василий Иванович замолчал, сорвал кепку с голы, бросил её под ноги:

— Трудное время наступило, товарищи алкаши! Ой, трудное! Полковник Вихрь ушёл со сцены! Закройте занавес, товарищи алкаши...

НИКИШКИНЫ КРЫЛЬЯ

Жиденькая деревушка с громким названием Потёмкино зябло прижалась к берегу таёжной реки. Почти каждая вторая изба — нежилая, с заколоченными крест-накрест окнами, с прогнившими, нахмуренными крышами. Напоминают избы немощных старух, брошенных на произвол судьбы беспутными сыновьями. Между избами и изгибом реч-

ного берега прохлесталась дорога, вдрызг разбитая, изжёванная колёсами лесовозов и тракторов.

Утро... Кое-где из труб поднимается жидкий дымок, стелется по дороге и, смешавшись с лёгким сырым туманом, уходит за речной изгиб, на поросшую чахлым березняком гору. Когда-то в Потёмкино был сплавной участок, но молевой сплав по реке прекратили, леспромхоз, куда сплавливали лес, разорился, и здоровые крепкие мужики вместе с семьями разъехались в поисках лучшей доли. Осталась, так сказать, мужская шелуха, безразличная к себе и неспособная к ударному труду по известной на Руси причине — беспробудного пьянства. Некоторые работали на пилораме, добывали пригодную для дела древесину на изнахраченных до безобразия бывших лесосеках. И как бы ни вкалывали мужички — не получали больше одной тысячи в месяц. Выше не закрывал им наряды мастер пилорамы, прижимистый, крутой нравом Гришка Ануйский. Потёмкинцы его звали — герцог Анжуйский, а чаще — просто Герцог. Если кто-нибудь из осмелившихся мужиков пытался возмутиться малым трудовым вознаграждением, Герцог хмурился, сжимал кулаки, махом пресекал бунт.

— А премию не хочешь? — совал он под нос рабочего фигу. — Ты прошлый месяц пять дней пьянствовал. Ещё пикнешь — уволю...

Конечно, мужику крыть было нечем. Кроме пилорамы, работать было негде.

В общем, полным хозяином в Потёмкино чувствовал себя Герцог. Побаивался он только Никишку, блаженного одинокого мужика с редкой седенькой бородкой, с голубыми, как небо, бесхитростными глазами.

Встретив где-нибудь Герцога, прилюдно или не прилюдно, Никишка низко, по пояс, ему кланялся, говорил простуженным голосом:

— Здравсьте, ваше благородие... Кормилец наш бескорыстный...

Никишка преданно смотрел своими чистыми глазами на Герцога и как-то по-особому, по-козьи хихикал. Вот этот смех выводил Герцога из себя:

— Замолчи, придурок...

Никишка кланялся ещё ниже:

— Спасибо за доброе слово, ваше благородие. Если случайно придавят тебя бревном мужички — не горюй. Свеч-

ку за упокой души поставлю. Легче тебе будет перед Богом за грехи отчитываться...

Герцог смачно плевал в сторону Никишки и спешил уйти от него побыстрее и подальше...

Меня в Потёмкино занесли журналистские заботы... Я хотел понять: как, зачем живут люди в умирающих посёлках, каких тысячи сегодня на Руси? Но скажу откровенно — так я ничего и не понял...

Выходной день. Люди сидели на крыльце магазина: галдели, матерились, ждали продавщицу Нину Ивановну. Она почему-то задерживалась. Пойти к ней домой и привести на рабочее место никто не осмеливался. Нина Ивановна была с характером, могла взбрыкнуть, зауросить и вообще не открыть горловую точку. Тогда как жить дальше? Тогда — хоть в петлю. Вот и сидели жаждущие похмелья покорно и тихо, в окружении спокойных лохматых собак, запогоженных репейниками от головы до хвостов. Собаки и люди были похожи друг на друга своей неухоженностью — затравленные, безразличные к себе и окружающему миру.

Бывшая сучкоруб, а сейчас безработная Нюрка Исаева, кряжистая, как необхватный пень, ударь кувалдой по голове — не вздрогнет, насупленно наступала всей своей могучей массой на хилого и щуплого сожителя Федьку Мурзина.

— Какие бывают отпетые люди, — кричала она, как бы ожидая участия у толпы. — Опух от наглости. Оставила себе на опохмелку в бутылке, а этот зараза её выжрал. И не подавился...

— Чего привязалась? — лениво оправдывался Федька. — Не трогал я твою отраву, законно говорю.

— А как ко мне на койку лез, тоже не помнишь? Кобель общипанный...

Мужики и бабы, слушая перебранку, добродушно хохотали... Наконец появилась продавщица Нина Ивановна. Все подобострастно заулыбались, расступились, и она вальяжно прошла сквозь фуфаечную толпу, позвякивая связкой ключей на толстом указательном пальце.

— Что, пролетарии, в горле першит? Сейчас промочите свои утробы. Вчера коммерсанты самопала привезли. И по крепости, и по цене самое то...

Голос у Нины Ивановны был звонкий, басовитый, независимый. Таким голосом хорошо ругаться с подчинёнными. Проймёт любого до нутра...

Один только Никишка был безразличен ко всему на свете. Он сидел в одиночестве на завалинке магазина и с живым интересом смотрел на окружающий мир. Туманная наволочь неуютной жизни его не касалась, всё для него было ладно и хорошо. Никишка не брился, наверное, с самого рождения, и его жиденькую бородёнку суетно трепал ветерок с недалёкой реки.

Никишку потёмкинцы, хоть и считали с придурью, не от мира сего, никогда не обижали, и не потому, что не было причин — у русского человека всегда найдётся повод для насмешки и зубоскальства. Особенно если он в подпитии или с похмелья. Если кто-то пытался чем-то упрекнуть Никишку, тот светло улыбался, ласково говорил:

— Не становись на краю бездны. Ужас ты сеешь бранью среди всего живого. Понимаю, что вы живёте как скоты, омрачаете ум водкою. А посмотри, товарищ, какая кругом воля и доброта. Оглянись без зла на окружающее пространство — и сердце своё откроете счастью.

Загадочные, непонятные слова Никишки западали в душу потёмкинцам, волновали и настораживали.

— Чёрт его знает, может, он силу какую имеет тайную, накликает беды.

А Никишка после такого внушения отходил с кроткой улыбкой от собеседника и брёл на берег реки, где садился где-нибудь под кустиком на прибрежный холодный валун и думал о чём-то своём. А о чём думал Никишка — всем было невдомёк.

Хорошо на реке Никишке. Брошенная худая лодка вросла в песок, а на середине реки, на быстрянке, остаточный после сплава топляк то нырнёт, то вынырнет чёрной верхушкой, и кажется Никишке, что это бьёт хвостом по воде огромная рыба-таймень.

* * *

Самопал у Нины Ивановны разобрали быстро. И пошла по Потёмкино гульба с матерными песнями да вспышками пьяных драк. Какие коммерсанты привезли в Потёмкино

поддельную водку, до сих пор не выяснено. Потёмкино после попойки осиротело на пять мужиков. Сгорели напрочь за ночь. Приезжали из районной прокуратуры, допросили продавца, составив соответствующие документы, и списали мужиков, как списывают негодный, бракованный товар.

Хоронили покойных в общей могиле, вырытой экскаватором. Правда, гробы по распоряжению Гришки Анжуйского сделали для каждого усопшего отдельные, используя для этого старые, не фондовые доски-сороковки. Но крест на всех сделали один, соорудили его на пилораме из огромного листвяка, чтобы стоял он над братской могилкой долгие годы.

Потёмкинцы на похороны пришли все, но никто не плакал, не вздыхал: смотрели на всё происходящее спокойно и отрешённо. Бывшая сучкоруб Нюрка Исаева пила не меньше других, но, утром проблевавшись до выворота кишок, выжила и стояла в толпе провожающих — её сожитель Федька Мурзин ушёл из её жизни навсегда.

— Хлюпик, подкосил здоровье пьянкой. Хотя и никчёмный был мужик, но всё же жалко Федьку, полаяться на досуге теперь не с кем, — сказала она и смахнула скупую слезу со щеки. Это, пожалуй, была единственная слеза на похоронах...

Был на кладбище и Никишка со своей загадочной и нездешней душой. Никишка печально смотрел на огромный крест голубыми, как небо, глазами.

— Крыльев не было у покойников, — сказал он. — Пропили они крылья. А без крыльев человеку не выжить. Я вот сохранил крылья и свободно летаю над миром...

Никишка взмахнул своими тонкими руками, как бы готовясь к полёту, с птичьим клёкотом что-то вскрикнул и не пошёл, а побежал к реке.

— Жерлицы нужно проверить, — крикнул он на бегу мне. — Щук в реке уйма, и все — что бревно. Пусть на поминках люди похлебают ущицы... На поминках Потёмкино и всей России...

Слова Никишки резанули меня по сердцу. Я зашёл в поссовет, где несколько ночей подряд ночевал на старом скрипучем диване, отметил командировку у главы сельской администрации — миловидной и грустной женщины — и пошёл на большак ловить попутку до райцентра. Крест на

кладбищенском взгорке был виден издали. Поминки по России — эти слова Никишки не выходили из головы.

Ах, Никишка, Никишка. Как я завидую тебе, что ты сохранил крылья и живёшь легко и просто, ни перед кем не пресмыкаясь. Я искренне позавидовал Никишке. Хотя и дурак Никишка, блаженный, но это единственный умный человек в умирающей от водки и безысходности деревне Потёмкино. А может быть, дурак Никишка — самый умный человек на просторах Руси?

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Слава Богу, я захватил весёлые рождественские праздники, не сегодняшние — официальные и от этого для меня чужеродные, — а настоящие, простосердечно-неподдельные, полные радости, когда забывается горе, которого было воз и маленькая тележка в каждом доме алтайской станицы Антоньевской. Несмотря на превратности судьбы, сохраняя тогда народ свою весёлость и склонность к забавам.

Возьмите гадания. Сколько их было на Руси — перечислить невозможно. Выдернула девушка полено из поленицы в глубокую тёмную ночь. Если гладкое — муж будет тихий и добрый; суковатое — сердитый; расколотое — дурной и волокита. А откуда придёт «добрый молодец» к молодой, тоже можно было определить при помощи гадания. Бросали девушки валенок через низкий пригон или глухой забор. В какую сторону укажет ступня валенка, оттуда и жди счастья. Гадали на бобах, куске хлеба, пучке соломы и так далее.

Наиболее распространённое у нас гадание было на зеркалах. Ставится свеча на стол рядом с зеркалом, а другим зеркалом, которое держат в руках, устраивается как бы анфилада отражений. На кого загадывают — ждут его появления в самом центре отражения. Если учесть, что гадание зеркалами идёт в полночь, когда люди верили в чудеса, в глубине зеркал может появиться именно тот, кого ждёт женщина: муж, сын, жених...

Помню, гадала моя мать на зеркалах: ей хотелось узнать, жив или нет её сын, мой старший брат Фёдор, который ушёл

на войну летом сорок первого и канул неизвестно куда. На запрос матери военкомат ответил: «Ваш сын Фёдор Карпович Зикунув пропал без вести».

Мать долго и напряжённо смотрела в зеркало. В избе было тихо и страшно, и было слышно, как под половицей скребётся не то мышь, не то домовая. Вдруг мать радостно закричала:

— Жив Фёдор, жив!.. Весь в медалях да орденах. Буду ждать сына...

Но Фёдора мы так и не дождались. Не знаем, где, под каким кустом моют его косточки дожди и росы...

А вот одно гадание, если можно сказать, «эксклюзивное», чисто наше, антоньевское. Переворачивал всю энциклопедию народной жизни в библиотеке, а такого способа гадания не обнаружил. Вот его суть: девушка, желая узнать, за богатого или бедного парня она выйдет замуж, в предбаннике задирает юбку и голым задом спускалась по ступенькам. Если коснётся чего-то мягкого — муж будет богатым, если холодного и скользкого — бедным. С банями, а они у нас топились по-чёрному, было в народе много связано легенд и суеверий. Поэтому на гадание в бане решались самые отчаянные и смелые девушки.

Мой брат Шурка, балагур и весельчак, подслушал, что девчонки решили гадать в бане. Он заранее забрался в баню и сидел там тише воды, ниже травы. Надо сказать, что он прихватил с собой лохматые собачьи рукавицы. Первой полезла по ступенькам голый задницей вперёд сестра Валька. Для сестры, конечно, счастья не жалко, Шурка погладил её голое место лохматыми рукавицами. Валька выскочила из предбанника очень довольная:

— За богатого выйду...

Следующей полезла гадать соседская девчонка Зойка, за которой, между прочим, Шурка ухлёстывал. Когда задница Зойки оказалась в дверном проёме, поплёскивая в темноте своей спелостью, Шурка схватил её обеими руками и потащил Зойку в глубь бани. Страшный, истошный крик донёсся из глубины предбанника. Зойка вырвалась из цепких рук Шурки и, путаясь в трусах и поднятой вверх юбке, выскочила на улицу и упала в обмороке на белый лунный снег.

— Там дьявол, там дьявол, — только и успела сказать она.

Зойку, почти без сознания, притащили в избу, уложили на постель. Меня послали за бабкой Жаричихой, которая лечила от всех болезней, в том числе и от испуга.

Жаричиха, пошептав молитвы, сбрызнув Зойку «святой» водой, довольно быстро привела её в чувство.

— Что ты так испугалась? — спросила Жаричиха Зойку.

— Кто-то схватил меня лохматыми руками и поволок в глубь бани, чуть не повалил на полоч...

— Этот дьявол где-то среди нас обитает, — улыбнулась старуха. — Возможно, он и будет твоим суженым...

Так оно и случилось: осенью Зойка и Шурка справили свадьбу. И только тогда он сознался, что в бане сидел собственной персоной.

— Дурак, — ответила Зойка. — А если бы я умерла от страха?

Вскоре Шурка и Зойка уехали из Антоньевки под Кемерово, устроились на шахту «Пионер». Я гостевал у них, давненько это было, ещё до «перестройки». В честь моего приезда «соорудили» праздничный стол. Богато тогда жили шахтёры. Чего только не было на столе — возможно, только птичьего молока. За столом сидело, кроме нас, семеро парней — прекрасных и весёлых отпрысков Шурки и Зойки. Говорили обо всём и, конечно, вспомнили гадание в бане. Смеялись до упаду...

— Сбылось гадание, сбылось, — говорила Зойка и с любовью посмотрела на облысевшего, постаревшего Шурку. — Во всяком случае, наша жизнь удалась...

Шурка с Зойкой давно на пенсии. Ещё до развала страны купили они домик с яблоневым садом в Алма-Ате. Переписывались. Но сейчас переписка оборвалась. Ни его, ни мои письма до Алма-Аты не доходят. Зарубежье...

ПОДАРОК ДЕДА ЕГОРИЯ

Мало у нас осталось истинно мастеровых людей, которые сохранили опыт и сноровку дедов и прадедов. В Минусинске был такой мастер. И стар и млад звали его дед Егорий. Работал когда-то Егор Иванович, как он сам выразился, «обходчиком на железке», но ещё в семидесятые годы

прошлого века сократили «пешеходную» должность — пришла автоматика. Егор Иванович особо не переживал, поскольку в запасе у него была ещё одна профессия — бондарь. Этому делу обучил его отец.

— Дело карман не оттягивает, — говорил отец Егору. — Дело само по земле себя носит.

После первой же кадушки, сделанной руками сына, ушёл солдат из жизни — замучили раны, которые получил он в Брянских лесах, где партизанил после прорыва из окружения. Егорий сам старик, но жить любил и на вечный покой не спешил. Любимое мастерство продлевало жизнь.

Делал дед Егорий кадушки на загляденье, в основном для засолки капусты, огурцов и сладких как мёд минусинских арбузов. Редко, по заказу — под грузди и рыжики. А ещё дед знал, как сделать лагунок для мёда, браги, знал, какое и когда взять для изделия дерево, как подготовить его, чтобы мёд хранился годами, чтобы квас приобретал особую терпкость и утолял в жару жажду. А ещё дед Егорий делал хлебницы из кедровых дощечек.

— В магазинных железяках да пластмассовых посудинах хлеб вянет и скучает. Кедровый туюсок — другое дело. За сотни лет жизни кедр столько впитывает в себя солнца и ветра, столько ароматов таёжных, что хлеб там смеётся от радости и дышит во все лёгкие. Слаще и сытнее становится хлебушко, — говорил дед Егорий.

Еле уговорил Егория продать мне одну хлебную посудину.

— Так бери, корреспондент... Ты же собираешься про меня писать. Пусть туюсок будет как бы гонораром.

Кое-как всунул деду в карман полсотни.

Для базара дед Егорий не работал, а всё по заказам — прирабатывал немного к пенсии. Дедовские золотые руки, наработавшиеся за долгую жизнь, уставали быстро. Иной раз невероятная тоска накатывалась на деда. Похлопает сухой ладонью крутобокую посудину, вздохнёт, задумается:

«Не вечен я, уйду, как и мой мастеровой отец. Он хоть успел передать умение мне. А я кому? Дети разъехались, у них свои заботы. Внуки? Тем больше по нраву компьютеры да видики. Беззаботно живут люди — транжирят богатство, которое опытом предков называется. Оно, конечно, можно запасы и в магазинной посудине хранить, в разрисованных

белибердой пакетах, мешочках. А скус-то не тот. Ведь живое дерево скус продукту даёт. Каждый продукт требует своего дерева...»

Рядом с домом деда лежал кедр в три мужских объёма. Сухой, проветренный веками и бурями, крепкий, словно подводная лодка. Прилетел дятел, прицепился к кедровому стволу, но, не найдя ни одной червоточинки, где спрячутся вкусные букашки, улетел в бор... Если бы этот кедр распустить на доски, обработать, то деду Егорию хватило бы до конца жизни из него хлебницы делать. Но распустить ствол негде. Пилораму закрыли, разворовали. Всё пошло прахом...

— Придётся кедрач «Дружкой», да в топку... — вздохнул дед Егорий.

Недалеко от дома Егория — бор. Сосны налиты солнечным светом, и кажется: от стволов идёт тепло по всей земле.

Дед проводил меня до калитки, протянул сухую крепкую руку.

— Пользуйся, — кивнул он на засунутую под мышку хлебницу. — Вспоминай деда Егория. Помру, может, скоро...

Как мне сообщили, ушёл мастеровой дед из жизни. Но оставил людям свои поделки. Тепло в них и доброта его рук сохранились. Когда достаю из посудины хлеб, деда тут же вспоминаю. И не только я, а все, кого одарил Егорий своими изделиями.

РОДИНСКИЕ КОЛОДЦЫ

Посвящается В.И. Ермакову

Заболел Родин... Так давило в груди у Дмитрия Григорьевича — дышать было не вмоготу. Как будто воздуха нет в избе, как будто ушёл весь воздух в трубу, на улицу, через открытую печную задвижку. Остался в избе только дым от махорки: плыл, клубился, словно утренний туман. Много курил в эту ночь Родин. Кашлял, задыхался, исходил мокротой, но курил... Тоска какая-то выворачивала наизнанку душу, да вдобавок разнылась, взбунтовалась в паху рана. Может быть, и уснул бы незаметно Родин, забылся бы, но тупая боль не давала покоя...

Много ран на теле у Родина. Как-никак, а прополз, пропахал землю, прорвался от Москвы до Праги: в снегах мёрз, тонул в болотинах, голодал, изнывал от жары в донских степях, а дошёл до иностранной столицы, посмотрел Злату Прагу, хотя ему лично было начхать на закордонные государства; ничего не было ему милее Енисея и села Шершанки. Но надо так было — вот и шёл, полз по-пластунски, покорял...

Не гнушался фашистский свинец родинского тела — всё в метах. Но, слава Богу, как ни свирепствовали вражеские пули, не нашли они на теле места, после которого ставится окончательная точка в жизни...

Называл эти меты Родин по местам боёв, где столкнулся с вражеским гостинцем. На правом плече шрам — ростовская мета: осколком шваркнуло в предплечье. На левом плече — зелёный, словно окислившаяся медь, рваный рубец: саданул под Мгой почти в упор из короткого автомата рыжий и испуганный немец, успел дать ответную очередь Родин. Уложил наповал рыжего. Упал он лицом в красноватую подмёрзлую болотистую землю как подкошенный, вскрикнул по-русски: «Ой!». Зажав рукой рану, подошёл Родин к врагу, повернул сапогом его лицо к миру: молодой парень, погодок, видно, Родину! Жить бы да жить ему в своей Германии.

— За что мы так друг друга? — спросил с удивлением Родин и дальше уже ничего не помнил: кровавый туман поплыл в глазах. Очнулся Родин в госпитале. Увидел сначала низкий потолок с голубыми подтёками от воды, будто это не потолок вовсе, а весенняя енисейская наледь. И вот выплыло, появилось из наледи девичье лицо с большими слезливыми глазами.

— Ты кто такая? — спросил Родин.

— Сестричка я, солдатик. Очнулся, милый. Ох, и тяжёлый ты был, калеченый, не думали, что вырвешься...

Перед глазами Родина встало лицо рыжего немца-погодка, испачканное красной болотной землёй... Родин застонал и закрыл глаза. Сестричка положила ему на лоб тёплую мягкую ладонь. Родин хотел ей сказать что-нибудь приятное, ласковое, но не смог разжать губ. Казалось ему, что не губы у него, а железные тяжёлые подковы на лице.

— Спи, солдатик, — сказала тихо сестричка. — Теперь на поправку пойдёшь...

Вырвался из смертных лап Родин, подмогой в выздоровлении была сибирская закалка: не неженкой он рос в Шершанке, трудился с малства, у Енисея крепости набирался — любил купаться в его холодной и упругой воде...

Где-то подспудно гордился Родин своими ранами, дивился сам на себя — как это так смешно получилось, не гребовали пули его телом, изрешетили всего, исполосовали, а выжил, вернулся домой и вот сейчас почти дошёл до жизненного финиша... Значит, не срок был умирать ему на войне. Миллионам его сверстников — срок, а вот ему, Родину, не срок...

Про рану в паху старался не вспоминать Родин, да и не докучала она ему, успокоилась и, казалось, зарубцевалась намертво. Но сейчас, на склоне лет, взяла да и напомнила о себе, заныла, как будто спала-спала, да и проснулась: «А вот и я, Дмитрий Григорьевич, не сбрасывай меня со счёта...»

Это первая рана Родина. Поздней осенью под Москвой получил он её. Отбивали тогда сибиряки атаку немцев на Клинском шоссе. Непуганый тогда был ещё враг, самоуверенный, наглый, пёр направо, в рост, как будто впереди была не Москва — столица России, а парк культуры и отдыха имени Максима Горького, где можно по-ухарски разгуляться, показать свою разбойную удаль. Страшно было смотреть Родину, как надвигались на мелкие, наспех вырытые окопы немцы, надвинув на самые глаза квадратные зелёные каски.

Первый это был у Родина бой: не обстрелян он был, салажонок — боялся немцев до жути, до мерзости. Непонятно было Родину, как это так, за считанные месяцы, скосили они, словно траву литовкой, пограничные части, подмяли под себя, заставили отступить. И вот уже у ворот Москвы незваные гости...

Родин стыдился своего первого боя и своей первой раны. Не отбивал он тогда атаку немцев, а просто стрелял на запад в направлении атаки, спрятав голову за земляной бруствер. Задела ли кого из немцев родинская пуля, убила ли наповал — кто знает?

Но атаку сибиряки отбили, поубавили вражескую спесь. В очередную атаку немцы шли уже с опаской, пригнувшись, прячась за покрытые первым грязным снежком увалы. И опять не целясь стрелял Родин, и опять было страшно ему

до жути, хотелось повернуться спиной к немцам и бежать во все лопатки, не оглядываясь, не думая ни о чём, через подмосковные берёзовые перелески, через Уральские горы и болотные низины Сибири домой, в Шершанку, ворваться в избу, крикнуть испуганной матери: «Там убивают...», — и, запыхавшись от бега, взлететь на печку, укрыться с головой овчинным батиным тулупом и наплакаться вдоволь, как плакал когда-то в детстве...

Первый бой — это был бой родинского страха и родинского долга. И родинский долг тогда проиграл бой.

И вот сейчас, как наяву, ярко увидел Дмитрий Григорьевич грязный подмосковный снег сорок первого года, дымную наволочь над полями, увидел оскаленные и прокуренные до желтизны зубы убитого наповал земляка-шершанца Васьки Нечаева. Лежал Васька на дне окопа лицом к дымному небу и, казалось, хохотал над своей горемычной солдатской судьбой. Начался артобстрел, и от взрыва снаряда обвалился скат окопа, засыпал Ваську навсегда, похоронил в подмосковной земле...

Кто знает, может быть, Васька Нечаев лежит сейчас под гранитной плитой на Красной площади, горит над ним вечный огонь и несут люди Ваське цветы? Кто знает? Много засыпано безымянных солдат сырой землёй. Одному только повезло: нашли его косточки, отмыли, отсортировали, положили под траурные и торжественные марши в центре России...

И, возможно, безоглядно бы деранул тогда Родин в тыл, бросил бы к чёрту это Клинское шоссе, прикрывающее дорогу к столице, потому что созрел тогда Родин для дезертирства и расстрела, но спасла от позора шальная вражеская пуля. Боли не почувствовал Родин, а стало только тепло и сыро под ягодицами: привстал, а на снегу — алые стружья...

После госпиталя уже ничего, хорошо воевал Родин: не рвался, правда, в герои, не лез без нужды на рожон, воевал, и всё — как работал... И, наверное, работал славно — не обижен наградами, вся грудь в орденах. И не в юбилейных, а настоящих. Юбилейные сами собой...

Шутил над собой иногда грубовато Родин:

— Брось меня в колодец — сразу захлебнусь. Железо вниз потянет. Ягодицы, те всплывут — дурь, она завсегда поверх плавает... Что в воде, что в жизни...

Дмитрий Григорьевич Родин жил в большой, почти новой избе вместе с супругой Галиной Васильевной. После войны отстроил он дом на месте родительского подворья. Богатый дом получился: пятистенник с полуподвальным помещением. Много денег и сил ушло у Родина на обустройство. Были у Родина и деньги, и силы... Долгое время, пока не пробросили по Шершанке водопровод, копал Родин колодцы. Дело это для каждого семейного двора важное, разовое, на многие годы, поэтому и платили люди мастеру хорошо, не скупились, старались не обидеть, потому что от колодезного умельца зависело многое: вкус воды, долговечность сруба, удобство расположения. А мастером Родин был преотменным. По еле заметным признакам, ему только одному ведомым, распознавал он, где водица, где она, поилица... Принимал заказы Родин задолго до начала работы: за два-три месяца. Присматривался ко двору, а по утрам, когда сходил туманец с земли, приходил на подворье заказчика, смотрел, курил, балагурил с хозяином.

— Когда приступишь, Григорьевич? — спрашивал обычно заказчик...

— Погодь маленько. Вон там, под тополиной, туманец задерживается — водоносный слой, видно, недалеко, но трава какая-то вялая, не лоснится — солей, наверное, в водице много... Давай ещё понаблюдаем...

— Тебе видней, Григорьич, — соглашался хозяин.

Наконец наступал момент, когда Родин решительно подходил к какому-либо месту во дворе и говорил:

— Сюда метку ставь, здесь рыть будем. Должна вода быть. Площадку подготовь... Убери лишнее окрест. Завтра приступим.

Сколько их, колодцев, было перерыто? Счёта нет! Теперь многие уже порухнули, затянуло их тиной. На всю Шершанку три родинских колодца сохранилось: у него самого во дворе, у Евдокии да ещё у Нюрки Нечаевой...

Дмитрий Григорьевич встал с койки, прошёлся по пустой избе. Кругом был порядок, всё на месте, всё чисто, но не хватало жизни домашнему скарбу. Зашёл в горницу, и там так же — не живут, не радуют вещи, грусть-тоска какая-то исходит от них. На дверцах дорогого полированного шифоньера — пыль, белая скатерть на круглом столе поблёкла — не та скатерть, что была раньше, даже цветы герани, которые не забывал поливать Родин, были смурные, потускневшие...

— Не то без хозяйки, подслеповатым становится дом, как бы в тумане, — вздохнул Родин...

Жена, Галина Васильевна, уехала к старшему сыну в Тынду. Звал, умолял её Серёжка посидеть с внуком лето. Вот и уехала на великую комсомольскую стройку Галина Васильевна. Когда уезжала, незлобливо подтрунивал над ней Родин:

— А как же... Надо. Кто там без тебя забьёт золотой костыль в основую шпалу?..

Галина Васильевна часто писала письма Родину, каждую неделю, скучала по Шершанке, недовольства высказывала в адрес Тынды — столицы БАМа:

«В магазинах, слава Богу, всё есть, но люди живут скученно, муравейно, в одной квартире, почитай, по две-три семьи. Деньги, правда, хорошие получают. Но что деньги? Вода... Не нравится мне здесь. По осени приеду. Блюди там себя, не простужайся...»

По несколько раз перечитывал письма Родин, вздыхал и складывал их стопочкой в ящике кухонного буфета...

Средний сын Родин, Максим, тоже на БАМе, сманил его Серёжка. Но он не в Тынде, где-то в другом месте — рубит через гору тоннель. Младший, Пётр, непутёвым оказался, забулдыжным... В кого пошёл — неизвестно. Набедокурил в шершанском клубе, подрался из-за девок. Упекли Петра на поселение на два года — рубит лес на Ангаре...

Наяву почувствовал Родин, как грустно, как нехорошо жить под старость лет одному, когда не с кем перемолвиться словом, пожалиться, поделиться своими болями и думами. Не навязчиво, конечно, пожалиться, а просто так, между делом — двумя-тремя словами...

Плохо одному, особенно ранними зорями, когда знаешь, что не прибудитесь ко двору даже какой-нибудь заваливший человечешко, с которым можно было бы поговорить о погоде, о посевах, посетовать на холодную весну и разойтись без сожаления, как будто не поговорил с человеком, а просто отмахнул от лица случайную паутину... Так уж человек устроен, язык и голос ему дадены не зря, а чтобы их использовать, хотя бы малость, хотя бы по пустякам, иначе нет человека...

«Не дотяну до осени в одиночестве, помру ненароком, — подумал с горечью Родин. — Отобыю, наверное, телеграмму Галине. Пусть едет домой. Без неё достроят БАМ, забьют золотой костыль в шпалу...»

Родин вышел на улицу, чтобы развеяться, пройтись по двору дозором, посмотреть, что и как на усадьбе, где подправить порушенное.

Но во дворе у Родин ни к чему не придерёшься: дрова уложены, словно по ниточке, дорожки подметены, кобель Тарзан сыт и весь лоснится. Он сидит на цепи, преданно смотрит на Родин, радостно поскуливает.

Да и грех держать в беспорядке двор Родину — он уже два года на пенсии. Одна забота у него — усадьба. Вот и следит за порядком, как будто ждёт каждый день важных иностранных гостей.

— Как ночевал, Тарзан? — спросил Родин собаку.

Тарзан зазвенел цепью, словно колокольчиком, и преданно посмотрел на Дмитрия Григорьевича, как бы хотел ответить: «Спасибо, не беспокойся, всё в порядке. А ты как спал, хозяин, как здоровье у тебя, Дмитрий Григорьевич?»

Родин понял взгляд Тарзана и сообщил ему не для сочувствия, а для сведения:

— Раны что-то взбунтовались, Тарзан. Да и одиноко в избе, непривычно. А вообще-то на жизнь грех жаловаться... Прожил хорошо. Душой не кривил...

Утро было прохладное, сырое; над Енисеем, правда, туман рассеялся, и полоска неба ширилась над заречными увалами; только по левую руку, у кромки бора, над покосными низинками, туман был ещё густой, колыхался, вспучивался, словно спелая хлебная квашня. День, судя по всему, предвиделся хороший, ядрёный: над бором небо голубело, и огромная бледная луна, захваченная врасплох ранним рассветом, растерялась и спешно отступила за горизонт.

Родин через калитку прошёл на огород в надежде найти там дело: прополоть что или вырвать дурнинную траву, но и там было всё в порядке. Следил он за огородом, не разгибался вечерами над грядками. Вот только у забора густо поднялась молодая крапива. Хотел вырвать её Родин, да раздумал: пусть растёт — поросёнку будет добавка в месиwo. Пользительна свежая зелень для каждого...

За грядками лука, который пробил землю ростками, как зелёными гвоздиками, набирались духмяной силы кусты смородины. Ранние листочки были ещё небольшими, с пятком, но уже густо зацвела смородина, исходила вся запахом, зазывала к себе крылатую насекомую живность. Ран-

ние пчёлы кружились над бледными цветочками — работали...

И только когда зашёл за кусты смородины, понял Родин, куда его влекла тайная внутренняя сила. К своему колодцу пришёл Родин. Он копал его как раз в год, когда ушёл из жизни Сталин и первое время жутко и непривычно было жить народу без вождя. А потом ничего, привыкли. Новые пришли... Тоже умные...

Тогда ещё в старом отцовском доме жил Родин. Место для колодца выбрал под черёмухой, поближе к крыльцу и скотскому пригону, чтобы не маяться с водой, не носить издалека, а сразу из бадейки да в колодину. Пусть сосёт свежую водичку скотинушка. Новую избу пришлось отодвинуть от колодца поближе к улице, и теперь оказался он на задах огорода, не у места. А потом, почти под окнами, появилась колонка. Бери воды сколько захочешь — залейся...

Но колодец не порушил Родин, потому что вода в нём для питья была мягче и слаще. Водопроводная тоже ничего, но отдавала железом, была малость грубоватая...

Родин подошёл к срубам, открыл крышку, заглянул в глубину. Венцы сруба местами позеленели, но были ещё крепкие, а повыше от воды, ближе к свету, почти сухие, не промокшие, янтарные узоры красовались на боковинах. Ещё бы стоять да стоять колодцу — поить людей. Но кого поить? Сам Родин теперь в одиночестве — много ли ему надо. Раз в два-три дня ходит он по воду. Для полива и поросюшке берёт в колонке: ближе, удобней...

Вода в колодце была недалеко, метрах в трёх от поверхности: отражалось в ней голубое холодное небо, а вот, как Божье явление, посреди неба возникло усталое лицо самого Родина...

Это было так неожиданно, что Родин даже вздрогнул, поспешно захлопнул крышку...

Он присел на влажный сруб, закурил. Черёмуха у колодца набирала цвет, изогнутый чёрный ствол напоминал коромысло, на одном конце которого висят корни, а на другом — ветки и листья. И стекали с них на землю мягкие капли росы...

И вдруг не захотелось болеть Родину: почувствовал он жалость к себе, несправедливо будет, если умрёт в это лето. Ведь свинец половодьем катил на Родина четыре года, а выжил, выстоял, вернулся домой, вырастил детей. А тут взять

да и уйти в землю, когда нет в этом никакой нужды, когда никто не гонит с белого света — живи себе да живи...

Внутренний какой-то голос прошептал Родину, чтобы он выпил хотя бы один глоток утренней воды из своего колодца, и исцелит она его от болей, утихомирит разбушевавшуюся рану, успокоит саднящую в непонятной тоске душу...

Родин опять открыл крышку колодца, сбросил вниз деревянную бадейку, придержал цепь рукой, чтобы шла бадейка до воды плавно, без рывков. Послышался всплеск, как будто там играет крупная рыба.

Родин пил прямо из бадейки. Вода переливалась через край, холодно текла за ворот рубашки. Солнце поднялось выше и играло в бадейке огневыми всполохами, как будто кто-то из-за черёмухи бросал в воду раскалённые железные опилки. Вода ломала зубы, обжигала горло, и пахла она молодым черёмуховым листом...

Родин поставил бадейку на место, прислушался к себе. И показалось ему, что дышать стало легче, спокойней, уменьшились грудные хрипы, да и рана в паху приумолкла, не стало той рези, что не давала уснуть ночью...

— А может быть, действительно полегчает, — с облегчением вслух сказал Родин. — Бог знает. Наверное, организму нужны соли, которые есть в колодезной воде...

Туман у кромки бора рассеялся, жалкие остатки его бродили, как разбежавшиеся овцы, по низине. Просыпалось село: где-то скрипнула калитка, где-то на краю Шершанки взревел мотор машины. Начинался новый день.

Родин вернулся к избе, присел на приступку крыльца: в дом его не манило — одиноко там было, сумрачно. Хотел завернуть ещё одну самокрутку, затянуться с наслаждением, но раздумал.

— С этой дурью надо кончать. Вред от курева организму, — сказал он вслух.

Кобель Тарзан смотрел преданно из будки на хозяина, гремел цепью, поскуливал, как бы одобряя решение Родина. И словно радуясь, что стало полегче со здоровьем у Дмитрия Григорьевича, заорали вдурную на заборе беспокойные воробьи. А скворец сел на тополину и запел сворованную у воробья песню:

— Будем жить, будем жить...

«А ить надо сходить попроведовать колодцы у Евдокии и Нюры Нечаевой, — подумал с какой-то тихой радостью Родин. — Не порушились ли? Может, что помочь?.. Как ни говори, а одиночные бабы...»

Нюра Нечаева была во дворе. Она, судя по мокрому крыльцу, только помыла полы и вывешивала на забор цветные тканые дорожки. Тоненькая и лёгкая на ход, Нюра на беглый взгляд казалась девчушкой-подростком, и только морщины под грустными голубыми глазами да седая, отливающая инеем чёлка, выбившаяся из-под платка, предательски выдавали её возраст. Увидев Родин, она заулыбалась ему, пригласила в избу:

— Заходи, Григорьевич... Холостякуешь ещё? Выйдет Галина замуж на БАМе...

— Пущай, — нарочито небрежно махнул Родин. — Невест, что ль, в Шершанке мало? Вот ты, например, чем не невеста? Пригожая... За меня пошла бы?

— Это с какого угла глянуть, Григорьич! Мужик ты справный, серьёзный... Такие мужики по кюветам не валяются. За тобой Галина прожила, как за каменной гривой. Ветерок и то её не колыхал... Пойдём в избу — чайку попьём...

— Спасибо, Нюра! Только что чаёвничал, — соврал Родин. — Я ить к тебе по делу. Колодец хочу глянуть. Может, подсобить что, подремонтировать?..

Нюра удивлённо подняла брови, пристально посмотрела на Родин и поняла, что болеет он, почернел лицом, осунулся, постарел, и есть какая-то тайная связь между его болезнью и колодцем...

— Посмотри, Григорьич... Посмотри, коль любопытно. Дюжит ещё, поит. Вода — что морс. Для питья только беру. Соседи, спасибо, помогают... Приходят иной раз по воду. Так и говорят — слышь, Григорьич? — соскучились по родинской водиче...

— Пущай всех, — посоветовал Родин. — Чем больше колодец работает, тем он чище...

Колодец у Нюры Нечаевой обветшал: кое-где венцы почти сгнили, готовые вот-вот рухнуть вниз, засыпать небольшое зеркальце далёкой ледяной воды. Да и как иначе? Копал его Родин давно — сразу после войны. И хотя несладко жилось Родину — оплаты почти никакой не взял за работу. И только чтобы не обидеть хозяйку, попросил у неё за рытьё мешок картошки. Заранее подсмотрел — не в тягость

ей будет такое вознаграждение. Картошка была в погребе у Нюры — хватит ей до новой...

Была тогда Нюра молодая, красивая, лёгкая как пушинка. Мельтешила по двору, словно бабочка-мотылёк. Родин тогда только начал дружить с Галиной, ещё неизвестно было, чем закончится дружба — свадьбой или скандалом... Не грех было и приударить за Нюрой, но не поворачивался язык даже намекнуть на бедовое дело...

Ждала Нюра тогда своего Ваську: пиджак, рубашки часто вывешивала на забор, чтобы прожарило их солнышко, не давало плодиться моли и другой вредной букашке. И до того она была уверена в возвращении с войны Васьки, что иной раз жутко становилось Родину и сомненья закрадывались в его душу: а может быть, это не Васька вовсе лежал на дне окопа и не его, горемычного, засыпало после взрыва снаряда подмёрзшим подмосковным сутлинком? Ведь бабье сердце чуткое — оно редко обманывает. Родин даже намёком не дал понять Нюре, что видел, как погиб Васька, что нечего ей зря маяться, убиваться тоской-кручинушкой.

— Пусть ждёт, — подумал тогда Родин. — Скажешь — хуже будет. А так надежда в душе. А с надеждой жить легче...

Родин набрал в ведро немного воды из Нюрино колодца, попробовал: пил он её не спеша, маленькими глоточками, словно доброе вино. Потом выплеснул остатки воды из ведра на утоптанную дорожку. На мокроту сразу же откуда-то с огорода, с капусты, прилетели голубенькие бабочки. Они сидели на мокром, удивлённо моргали крылышками, словно подкрашенными ресницами модницы...

— Сохранила прежний вкус вода, — сказал Родин. — Но самую малость плесенью припахивает. Сруб, Нюра, подладить надо. Выбросить гнилушные венцы. С них этот запах. Я тебе сделаю на днях, у меня за сараем сохранилось немного леса...

— Если не затруднит, то я не против, Григорьич! Заплачу как следует... Должна я тебе. Вон сколько колодец простоял за мешок картошки. По нынешним временам — разве это плата? Скажи — не поверят!

Родин насупился, посмурнел:

— Не вздумай расходоваться. Мне деньги не нужны. Я ить хочу, чтобы колодцы мои не умерли раньше меня. Сама знаешь, три их всего осталось в Шершанке. Болит душа за них...

— Как знаешь, Григорьич, — тихо ответила Нюра.

При выходе со двора Нюра присела на скамеечку у тополя. Монотонно шумели листья на тополе, как будто не листья гомонились над головой, а текли ручейками денёчки... Быстро летят они: оглянуться не успеешь, а вот она и старость!

Родин присел рядом с Нюрой.

— Вот и прошла почти вся жизнь, — вздохнул он. — Кажись, только вчера тебе колодец копал. Как уж ты ждала тогда своего Василия, как ждала... Жалко было смотреть, как убивалась...

— Теперь уж не жду, Григорьич! Не появится он. Сгинул навечно и адресочка не оставил... Первые годы действительно ждала — никого к себе не подпускала. Блюла себя. А ить сватались не баламутные мужики, не пьянчужки — серьёзные люди... Но как-то уж сжилась с ожиданием. Страшно было порушить привычное. Любовалась сама собой — вот какая, дескать, верная! Хоть песни с меня пиши! Вот и налюбовалась. Одна осталась...

Нюра заплакала. Она не прятала слёз от Родина. Текли они росными струйками, задерживались в морщинках, блестели. Но вот Нюра успокоилась, перестала плакать и вдруг весело, по-молодому рассмеялась:

— А ты, Григорьич, тюленем мне показался тогда. Посматривал на меня, как лиса на сыр, вздыхал...

Родин печально улыбнулся:

— Заметила, значит?.. Видная ты была, лёгкая, словно белочка. Верно, любовался я тобой, а язык, знаешь, не поворачивался сказать что-нибудь такое, как говорится, с намёком. Да и огрела бы ты меня чем-нибудь тяжёлым, исполосовала всего. Ведь у тебя на уме был только Василий.

— А может, и не огрела бы... Приласкал, так, может быть, и ничего...

Родин поспешно встал и, не прощаясь, почти побежал к калитке.

— Ты уж жди... На днях завезу лес, — крикнул он хрипло с улицы.

Разрывалось сердце у Родина на части, комок подступил к горлу — не проглотить комок, не выплюнуть. Вину Родин чувствовал перед Нюрой Нечаевой большую.

«Надо было сказать про Ваську. Не таить смерть его. Смотришь, поревела бы, поревела бабёнка да и вышла за-

муж. Не обидел её Бог красотой, нашла бы по вкусу, по душе...»

Время подходило к девяти: шофера, трактористы, другие рядовые работяги были уже на работе. Вот и из хороших домов потянулись люди на службу. В галстуках почти все, в штиблетах. Это пошли руководить районом руководители. Мозг Шершанки...

Родин прибавил шагу — нужно захватить дома Евдокию. Постепенно при быстром шаге он успокоился.

«А может быть, правильно сделал, что не сообщил Нюре о Ваське? Ждала она его всю жизнь и сильна была ожиданием. Да и люди уважительно, без смешков, зовут её Боярыней. За гордость зовут, за красоту, за верность...»

Евдокия Турбина работала в местном коммунхозе. Она уже выходила на улицу, когда остановил её Родин.

— Трудиться пошла? — спросил он.

— А как же, надо, Дмитрий Григорьевич!

— Задержись малость. Нужно обсудить кое-что с тобой. Важное дело.

Евдокия с удивлением посмотрела на Родина: к ней мало кто обращался с важными делами... Жила и жила себе спокойно, не выпячивалась. Вырастила сына Лёшку — рыжего до рези в глазах. Правда, сын получился не в неё, а в батю-фотографа... Оболтус оболтусом. Одно достоинство: на гармошке играет — заслушаешься... Появился Лёшка на свет Божий вскорости после войны. Много было таких женщин после войны: никто их не корит, не осуждает за бабскую слабость. Смертельная бойня была, много полегло настоящих мужиков, даже завалыщие мужичонки были на вес золота. Вот и пользовались этим несознательные негодники — плодили сиротство. Хорошо, если по трезвому, а то ведь по пьяному делу наловчились безобразничать. Вот и стало больше придурков на Руси. А от придурков сейчас новые придурки идут, ещё дураковатей...

Родин по-хозяйски зашёл в ограду и сразу же направился к колодцу. Евдокия в недоумении стояла у калитки, не зная, что делать: идти ли за гостем или подождать его на улице... Но Родин поманил её пальцем: подсемила уточкой к колодцу Евдокия.

— Не думаешь отремонтировать сруб? — спросил Родин.

— Да как тебе сказать, Дмитрий Григорьевич? Вода в нём как мёд вкусная. Но не век же ему стоять! Грибок на дерево напал, покрыл всё склизкой белью. Боюсь, рухнет. Вот и воду стало затинивать...

Родин открыл крышку колодца, посмотрел вниз. Слово снежные влажные хлопья, нависли над водой грибы-паразиты. Живого места не было видно. Дохнуло снизу плесненным холодом. Отживал своё колодец, отживал. Родин захлопнул крышку.

— Я, Евдокия, восстановлю сруб... Делать мне особливо нечего. На пенсии. Вот и подлажу, чтобы жил колодец... Пей на здоровье, раз водичка нравится.

— Я не против, — засмеялась Евдокия. — Привыкла к колодезной воде. Не та вода в колонке. Но платить-то за работу мне нечем. Сам знаешь, невелик у меня оклад. Видимость одна. А здесь лес надо. Влетит ремонт в копеечку...

Родин недовольно кашлянул, ему было обидно, что неправильно поняла его Евдокия. Не ради денег напрашивается он на работу. Не нужны ему вовсе деньги. Сбережено кое-что. Достаточно до скончания дней... И на поминки хватит.

— Знаешь что, Евдокия, — твёрдо сказал Родин, — не вздумай рушить колодец. Подновлю я тебе сруб за так. И лесом помогу...

— Да как можно? — испугалась Евдокия. — Кто ж сейчас бесплатно что делает? Нет, лучше порушу...

— Не вздумай, — резко сказал Родин. — Не дури. Порушить что угодно можно. Только и знаем, что рушим. Одним днём живём. Железяка водопроводная проржавеет — где воду будешь брать? В Енисее? Так там рази вода сейчас? Помои!

Родин зло хлопнул калиткой...

Он размашисто шёл к дому, раскланивался налево и направо. Здоровались с ним шершанцы. Уважали все Родина...

Где-то в черёмухе, прямо над колодцем, закуковала кукушка.

— Сколько мне осталось жить, вещунья? — спросил тихо Родин.

Суеверно ёкнуло сердце — замолчала сразу кукушка. Даже годика жизни не обещала. Пугнул её кто-то в черёмухе, что ль?..

Но зато воробей шебутился в придорожном тополе, прыгал с ветки на ветку, кричал Родину хриплым простуженным голосом:

— Будем жить! Будем жить!..

— Знаю, что будем жить, — охотно согласился с птичкой Родин. — Дело есть — жить надо...

Когда Родин поднимался по крыльцу в свой дом, с радостью вдруг почувствовал, что предательская рана в паху, полученная на Клинском шоссе, перестала ныть. Успокоилась, стерва...

Я НЕ СОРВАЛ ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ

Не помню, не знаю, сколько времени длилась моя первая юношеская любовь. Неделю, месяц, год? А скорее всего, она продолжается по сей день, потому что стала светлым воспоминанием.

А тогда, в юности, я жил в другом, ненастоящем мире: всё измерялось в моём сознании двумя временными отрезками: вечерние встречи с Инкой, а остальное время — жуткое и тягучее ожидание этих встреч.

В период ожидания я был не человек, а что-то среднее между ядерным взрывом и сумасшедшим: глаза мои воспалённо горели и ничего не видели, кроме туманных теней из прохожих, заборов, деревьев и домов. Автомобили и трамваи испуганно шарахались от меня, а водители вслед густо и красиво матерились. Но ни маты, ни визг тормозов не возвращали меня в реальность. Реальностью была только она — Инка, а остальное — тлен, декорация!

Ах, Инка, Инна, Инесса — не девчонка, а дух, тополиная пушинка, осколок крылышка от яркой летней бабочки. Инка училась в хореографическом училище при Новосибирском оперном театре, а я был обыкновенный «чиж», фэззушник с вечно изъеденными стружкой руками. Руки я свои ненавидел, после занятий долго и с остервенением мыл их хозяйственным мылом с древесными опилками, но следы въевшейся чугунной и стальной пыли были несмываемы. И когда я брал в трепетные минуты свиданий в свои ужасные руки Инкины ладони и взволнованно их гладил, мне каза-

лось, что я обдеру нежную кожу, сделаю ей больно и Инка с криком вырвет ладони из моих рук и уйдёт навсегда...

Но Инка не уходила, и, возможно, ей нравились мои руки, потому что это были руки не неженки, а рабочего парня. В годы нашей юности рабочий человек был на вес золота. Не знаю, любила ли меня Инка; скорее всего, да, иначе чем объяснишь, что она с готовностью соглашалась на свидания в парке имени Кирова в заветном месте на скамейке среди акаций. Правда, Инка всегда опаздывала на свидания — не намного, минут на десять-пятнадцать. Эти минуты тянулись, как вечность, но всё сразу забывалось, когда я видел сквозь заросли бегущую ко мне Инку. Она появлялась, как ласковый ветер, вырвавшийся из зарослей акаций, да что там ветер — жаркий вихрь, который кружил и поднимал до небес моё сердце. Инка прижималась ко мне худым плечом, а я замирал, столбенел от близости её тела, которое пахло чем-то непонятным, загадочным, влекущим к себе и взгляд, и душу. Инка щебетала что-то об учёбе, о танцах, о родителях, которые были у неё музыканты, и, заглядывая мне в лицо голубыми глазами, надувала губки, почти кричала:

— Что молчишь? Скажи что-нибудь...

— А чё я тебе скажу?

— С тобой не соскучишься...

Инка заливалась звонким смехом, а я краснел, проклинал свою неуклюжесть и готов был вечно слушать её болтовню, потому что рядом с Инкой я чувствовал себя счастливым...

Мы были юны и наивны. Нам было всего по пятнадцать лет. Только-только всходила, говоря красиво, заря жизни. Наши свидания хотя и были нам желанны, но, скорее всего, это была игра, подражание зрелым парам, которые после нас в темноте занимали потаённые скамейки в парке и уходили только на рассвете с опухшими от поцелуев губами. А нам, отроческой мелюзге, долго гулять запрещали родители. В те годы их обожали и слушались. Инке разрешали гулять до десяти вечера. Я провожал её до подъезда, тоскливо смотрел в её голубые глаза, спрашивал:

— Завтра придёшь на нашу скамейку?

— Приду, конечно, — отвечала Инка, приглаживая рукой свои непокорные золотые волосы.

Инка улетаала по лестнице подъезда бесшумно, как привидение, а я отрешённо брёл домой по палым листьям тополей. Листья шуршали под моими ногами, и мне казалось, что они шепчут с упрёком:

«Дурак! Поцелуй Инку! Она ждёт твоего поцелуя. Для неё первый поцелуй такая же загадка и тайна, как и для тебя...»

На очередное свидание в парке имени Кирова Инка прилетела, как обычно, с опозданием. Она сразу же закружила, заморозила меня голубизной своих глаз. Инка сбросила на разноцветные листья тапочки и, поджав ноги, села рядом. Её платье поднялось чуть выше, чем обычно, открыв моему взволнованному взору острые коленки. Из-за осенних акаций вырвался прохладный и игривый ветер. Инка испуганно прижала руками к ногам подол платья, от её резкого движения лямка платья соскользнула с плеча, открыв юные груди. Алый лист клёна прилетел откуда-то из глубины парка, прокатился по шее, опустился вниз и застрял в выемке между двумя юными комочками. Меня бросило в жар, а Инка испуганно посмотрела мне в лицо. Я почувствовал, что Инке в этот момент стало одновременно и страшно, и приятно. Ветер шаловливо приоткрыл частицу великой женской тайны, которую пытаются разгадать вот уже миллионы лет поэты и музыканты, и ничего у них из этой затеи не получается. И я, не понимая, что делаю, прижал тонкое гибкое тело Инки к себе и неистово, сумасшедше стал целовать её в губы, глаза, шею. В этот момент никого не было в мирозданье: ни Земли, ни Млечного пути, ни Солнца. Были только мы вдвоём — я и Инка, и от нас, только от нас пойдёт рождение жизни во Вселенной. Мы боги, мы творцы, мы — и никто другой.

На какое-то время Инка вся отдалась моим поцелуям, обмякла, обессилела и только шептала:

— Не надо... Не надо...

Не помню, через какое время — через секунду или через миллионы лет — она опомнилась, напряглась всем телом, вырвалась из моих объятий, опустила босые ноги в листья и, взяв тапочки в руки, босиком пошла на выход из парка. Я догнал её. Мне казалось, что я совершил недопустимую глупость и нет мне за это прощения.

— Инесса, Инна, Инка, — говорил я с волнением. — Я не хотел тебя обидеть...

Инка молчала, осенний ветер заблудился в её волосах, небрежно разбросал их по плечам.

«Как он смеет, — думал я с раздражением о ветре. — Как он смеет!»

Вдруг Инка замедлила шаг, посмотрела на меня с какой-то отрешённой улыбкой.

— А ты не обидел, — сказала она. — Не обидел... Только мы теперь не будем встречаться с тобой в парке. Мне некогда. Большая нагрузка в училище.

— Никогда не будем? — спросил я.

Инка ничего не ответила. Она упорхнула, улетела, как лист клёна, который порыв ветра опустил на её юную грудь...

Инка действительно избегала встреч, не отвечала на мои звонки. А я страдал, и писал грустные стихи о любви, и думал о самоубийстве, но не мог выбрать достойного способа, как расстаться с жизнью, — такого способа, чтобы вздрогнул весь мир и она, Инка. Но юность брала своё. Сердце успокоилось и стремилось к новым встречам.

*Я не сорвал
Полярную звезду,
Так, значит,
путь к причалам обеспечен
И мне, и тем,
кто потерпел крушеньё...*

Я увидел Инку после армии в театре, в балете «Лебединое озеро». Со мной была другая женщина. И тоже любимая...

Инка танцевала в массовке. Мне показалось, что она меня узнала, потому что в танце тонкие чуткие руки тянула именно в мою сторону. Я видел, что эти движения у неё были вне ритма, вне музыки и закона танца. Её руки предназначались мне...

Пойти за кулисы, встретиться, поговорить?.. А зачем? Я давно осознал, что Инка тогда, когда нам было по пятнадцать и мы в парке имени Кирова задыхались от божественной тайны первых поцелуев, поступила очень мудро. Она ушла, оставив и мне, и себе на память светлую чистоту наивной юности...

Инесса, Инна, Инка! Спасибо тебе за это!

«ПУШНИНА» У КАЛИТКИ

С улыбкой



ВОРОН ГРИШКА

Молодого воронёнка, ещё не ставшего на крыло, подобрала под деревом моя внучка Олеся. Выбросить его было грешно — погибнет, и мы его «прописали» на своей жилплощади. Я взял да и назвал сдуру воронёнка Гришкой. А, как известно, от имени зависит и характер не только человека, но и другого любого существа. Гришки у нас на Руси, если вы помните историю, сплошь «демократы»: Гришка Отрепьев, Гришка Распутин, Гришка Явлинский... «Демократы», если к ним внимательно присмотреться, народ нахрапистый, без тонких эмоций, себе на уме. Вот и воронёнок Гришка полностью унаследовал повадки своих именитых предшественников: сразу же стал проявлять беспримерное нахальство. Правда, в смысле жратвы не капризничал, принимал охотно всё, что дадут: хлеб, червей, распаренный горох, но особое любопытство проявлял всё же к свежему говяжьему мясу. Ввиду завидной прожорливости трапезу требовал очень часто и с таким циничным карканьем, что даже соседи стучали в стены, батареи — требовали: заткни, дескать, клювистую пасть этой презренной твари... При этом у Гришки не было режима: требовал он жратву круглые сутки.

Надо сказать, что как раз в это время наши реформаторы, утомлённые заботами о благе народа, объявили бюджетный секвестр.

Как-то ночью, когда Гришка проголодался, он заорал на всю квартиру благим, так сказать, «карком»:

— Даёшь секвестр-р-р! Даёшь секвестр-р-р!

Такое безмозглое нахальство вывело меня из себя, появилось желание, извините, врезать Гришке «в морду». Но какая там у птицы «морда»? Так, запятая...

— Я те дам секвестр! Я те дам... Вот тебе секвестр!

Я ополовинил кусочки мяса, приготовленные для Гришки, и бросил в его раскрытую пасть не шесть кусочков говядины, а всего три.

— С сегодняшнего дня ты у меня будешь жить на секвестированном пайке...

Гришка вертел головой, смотрел вопросительно на меня то левым, то правым глазом, соображая, серьёзно я говорю или нет. Поняв, что я настроен решительно, он каркнул:

— Нет — секвестр-р-ру! Нет — секвестр-р-ру!

В этом факте, как вы видите, полностью выявилось демократическое нутро моего домашнего ворона. Жить не убеждениями, а по расчёту. Если не светит, они быстренько меняют платформу.

Прогуливался Гришка на дворе, где навёл свой «демократический» порядок. Он не признавал никаких правил приличия, сразу даже взял верховенство над собаками и кошками. Мой кобель Клим Ефремович пытался призвать его к совестливости, соблюдать дворовую субординацию, но Гришка равнодушно и безжалостно клюнул его в нос. Клим взвизгнул, отошёл и больше к Гришке не подходил.

Очень быстро Гришка поднялся на крыло, но от дома далеко не улетал. Возвращался с прогулок, садился на приступку окна и требовал трапезы. Каркал так громко и так настойчиво, что соседи стали посматривать на меня и Гришку с недовольством. И, откровенно говоря, я даже обрадовался, когда однажды Гришка вообще не вернулся домой.

Правда, недавно, как раз перед Новым годом повзрослевший Гришка появился у нашего дома. Он сел на проволок, на которую мы вешаем бельё, и так громко, «демократично» закаркал. Голос его стал грубее, требовательнее, нахальнее. Я малость струхнул. А вдруг попросится Гришка вновь на жительство ко мне? По натуре я человек слабый, жалостливый и, конечно, не отказал бы в постое животному. Я закрыл форточку, присмирел, притворился, что якобы меня нет дома.

Гришка покаркал, покаркал... и улетел. Слава тебе, Господи. Не дай Бог жить в одной квартире с болтливым ворон-«демократом».

ГИМН ЦЕПНОГО ЦЕХА

Долгое время мы жили без гимна. А страна без гимна, сами понимаете, неполноценная. Гимн — это главная песня нации, этакий державный хор Пятницкого, где плечом к плечу стоят солисты разных национальностей, политических воззрений, вероисповедания...

Сейчас гимн, слава Богу, принят. Взрастали и взлелеяли его, когда наша держава была на подъёме и мёртвой хваткой вцепилась в горло фашистского зверя, который, истекая кровью и смрадом, отчаянно сопротивлялся и пытался выжить, утвердиться в старушке-Европе. Но не тут-то было. Могучий, широкий, как поля России, александровский гимн звал к победе.

Как ни прискорбно, но сегодняшняя необласканная, изнасилованная «демократией» наша страна недостойна такого гимна. Он принят как аванс, как призыв к придавленной нищетою нации — проснитесь, засучите рукава, возьмитесь за дело и дотяните Россию до уровня великой песни...

Это поняли «демократы», которые оккупировали газеты, радио и телевидение и подняли тошнотворный вой в защиту общечеловеческих ценностей от наступающего «тоталитаризма». Хиленькая прослойка интеллигенции выступает в печати с коллективно-колхозными протестными посланиями в адрес Думы и президента: в «Известиях», «Комсомольской правде» и прочих сомнительных изданиях. Ах, подписанты, подписанты, вы пособники Антанты! Жалко мне вас...

Подписанты пригрозили и президенту, и всему народу, что при звуках александровской музыки не будут вставать с места, как того требует ритуал, а будут сидеть и молча протестовать! Сидите, господа, сидите. Нам от вашего сидения ни холодно ни жарко!

Хотя есть выход... Вам, сидящим, я предлагаю другой гимн — гимн цепного цеха.

В годы моей молодости каждое уважающее себя предприятие старалось иметь свою профессиональную песню для различных торжественных мероприятий и демонстраций. Такую песню заказал мне и довольно известному новосибирскому композитору Саше Миронову профком цепного цеха закрытого предприятия № 161. Завод этот, кроме военной продукции, выпускал ещё и цепи — для комбайнов и других сельхозмашин, изготавливаемых на сборочных предприятиях Сибири и Дальнего Востока. Не знаю, как сейчас, а в наши годы новосибирскими цепями оснащались степные «корабли» Красноярского комбайнового завода. Цепной цех был крупнейшим на предприятии, и, естествен-

но, без задорного, зовущего коллектив на трудовые подвиги марша выполнять плановые задания было трудновато.

За «халтурку», или, как сейчас гордо называли бы, «пенсенный бизнес», профком обещал гонорар в сумме 150 рублей на нос — деньги по тем временам большие, которые притом не были для нас лишними, так как я и Саша Мионов были в молодые годы людьми хлебосольными, не гнушались рюмки и любили угощать за свой счёт хороших друзей и пышных подруг...

Над заказом мы работали дня три. Конечно, под будущий гонорар перехватывали деньжат и для мощного порыва интеллекта и таланта стимулировали душу водкой, которая стоила тогда 2 рубля 10 копеек за пол-литра.

Во время работы над музыкой Саша крутил на проигрывателе Дунаевского, Покрасса и даже Бетховена и кое-что из аккордов заимствовал для «цепного марша». Заметить это лёгкое, невинное хищение интеллектуальной собственности великих композиторов могли только специалисты-музыковеды. Но таковых в профкоме не было и быть не могло: не положено по штату.

Я, естественно, подгонял слова по напетой Мироновым «рыбе» к зовущему цепников на трудовые подвиги маршу. И это было нелёгкое дело. Подсмотреть что-то у профессиональных поэтов и творчески переосмыслить словесный материал я не мог: про комбайновые цепи ни в русской, ни в мировой литературе ничего не сообщалось. Белое пятно. Правда, у Пушкина есть строка «и цепи тяжкие падут», но, как вы понимаете, это «цепи рабства», а не цепи для сельскохозяйственного инвентаря. Для меня это был не только социальный заказ, но и важнейшая работа, высокая честь сделать всё возможное, чтобы комбайновые цепи стали достоянием отечественной и мировой литературы. И я, извините за присущую мне скромность, воплотил задуманное в жизнь.

Снимите, читатели, шапки, встаньте и... послушайте:

Ходит с нашими цепями,

Эх, комбайн зерновой...

Если надо, обмотаем

Мы цепями шар земной!

Музыка и слова не могли не понравиться профкому, и поэтому мы с Сашей Мироновым спокойно получили обе-

щанное вознаграждение. Погуляли, скажу вам, с шиком. В моей холостяцкой конуре неделю подряд штабелями лежали друзья и нежные подруги, а когда просыпались, ликующе и ослепительно пели хором наш цепной гимн, обмывали творение и снова засыпали...

* * *

Вот я и отдаю бесплатно (уверен, не будет против и Саша Мионов) гимн цепного цеха подписантам и прочим противникам александровской мелодии на предмет исполнения сидя: не важно где — в мягком кресле офиса, в шезлонге на пляже Средиземного моря или на нарах в Лефортово... Последнее, правда, предпочтительнее.

ДЕДУШКА

Чёрт бы побрал этого Дедушку!

Всё так было хорошо на Красноярском море — на берегу стояли сосны, в траве пели кузнечики, красивые стройные женщины купались в бирюзовой воде. Жить бы да жить, да песни серебристые петь...

Вот только этот Дедушка испортил мне настроение. Ну прямо-таки не Дедушка, а нудный морозящий дождь...

Только разложили наши женщины на прихваченных из дома покрывалах обед, порезали колбаску, селёдочку, огурчики, поставили в центре бутылки, а этот проклятый Дедушка без спроса, без извинений уже сидит за нашим столом и беспардонно уплетает за обе щёки деликатесы...

— Пшёл, наглец! — закричали мы хором на Дедушку. Он отошёл от стола, посмотрел на нас невинным и укоризненным взглядом, как бы говоря: «Мещане вы, буржуины. Тошно мне от вас. Кусок-другой колбасы пожалели».

Сидит в сторонке, облизывается...

Прилегли мы на травку-муравку, налили по стаканчику, подцепил я колбаску на вилочку, чтобы закусить, жду, когда тост кто-нибудь скажет, а когда выпил, поднёс вилку с краковской, чтобы заесть, — клац по зубам железом. Нет на вилке колбаски — Дедушка успел стибрить. Зло взяло, выхватил я из костра палку — да за Дедушкой. Но разве до-

гонишь наглеца, если он на четырёх лапах, а я на двух, и не совсем твёрдых?..

Дедушкой звали рыжего приземистого пса дворовой «национальности». Принадлежал он рыбаку-артельщику Николаю, который промышлял недалеко от нашего лагеря. Наскоро сколоченная из горбыля избушка Николая стояла на самом яру. Его самого на месте не было — проверял сети, поставленные в заливе водохранилища. Когда он появился с рыбалки, я ему, естественно, «бью челобитную» на Дедушку:

— Так-то и так, в муть перемёт, не даёт твой пёс покою нам, отдыхающим.

Николай засмеялся:

— Дедушка у меня действительно хулиган. Надоела ему рыба, вот и промышляет разносолами. Конечно, дурная привычка. Приму меры...

Разговорились. Николай оказался классный мужик — отслужил на флоте, при советской власти работал бригадиром тракторной бригады. Гремел в газетах. Сейчас колхоз имени товарища Кирова при смерти, ни тракторы, ни механизаторы умирающему уже не нужны, и Николай переквалифицировался в рыбаки. Правда, как он говорит, толку от такого промысла никакого. Выловленную рыбу реализовать невозможно, и она в основном идёт на корм свиньям. Пробивается Николай тем, что изредка с испугу попавшуюся в сеть красную рыбу продаёт отдыхающим.

Дедушку Николай, как и положено, отругал и посадил на цепь.

Отдыхали мы уже спокойно — ели, пили, пели песни, а потом, загрузившись под завязку впечатлениями и напитками, улеглись спать прямо на берегу, положив под себя то, что у нас было.

Ночь выдалась тёплая, от моря веяло ласковым ветерком, а звёзды на небе казались такими огромными и близкими — протяни руку, рви и укладывай их в вёдра, словно спелые яблоки.

Под голову я положил свою кожаную куртку, свернув её конвертиком. И только задремал, кто-то резко вырвал куртку из-под головы, и я затылком довольно больно ударился о прибрежную гальку. Вскочил в гневе. Что за шутки?

В темноте к косогору метнулась приземистая тень бесстии Дедушки. Не знаю, сам он отвязался или его отпустил

на волю Николай, полагая, что ночью от Дедушки не будет вреда отдыхающим, но факт остаётся фактом — он нашёл среди спящих именно меня и подложил, так сказать, мне свою собачью «свинью». Наверняка обиделся, что гонял его за наглость да вдобавок наябедничал хозяину...

Утром, когда первые солнечные лучи зажгли костром верхушки сосен, я пошёл к домику Николая. Он уже был на ногах, возился с сетями. Я рассказал ему об очередной проделке Дедушки. Николай с нарочитым удивлением захлопал ладонями по бёдрам, налетел с упрёками на Дедушку, который сидел рядом с домиком, моргал своими хитроватыми глазками и, как мне показалось, ехидно улыбался.

Когда мы собирались уезжать, к автобусу подошёл Николай, в его руках была довольно большая полиэтиленовая сумка.

— Это тебе, — сказал Николай, — за моральный ущерб, нанесённый Дедушкой.

— Что это?

— Да так, рыбка. Зоревой улов. Я рыбу переложил крапивой, довезёшь до Дивногорска свеженькой.

Дома я высыпал рыбу в тазик. Меня обрадовало, что это была не «сорная» в виде окуньков и сорожки, а настоящая, добротная стерлядь.

Я смотрел на это «возмещение морального ущерба», на эту редкую сейчас красавицу-рыбу, от которой пахло свежими огурцами и утренней зарёй, тепло думал о рыбаке Николае и его дворняжке Дедушке.

— Хороший пёсик, чёрт дери... симпатичный...

ЕГОР ЕГОРОВИЧ

Ворон, который жил рядом с молочно-консервным комбинатом в рабочем квартале Шушенского, замашками и безалаберностью походил на местного пьянчужку-сапожника Егора. И закладывал за воротник, а точнее, за крыло не меньше, чем сапожных дел мастер. Вот все и называли птицу уважительно — Егор Егорович.

Как только в закутке мужики затевали торжество, Егор Егорович непременно прилетал в гости. Он пикиро-

вал под ноги честной компании, требовательно каркал, смотрел то одним, то другим глазом на собутыльников, как на своих закадычных друзей. Все окрестные мужики знали, что зря Егор Егорович своим присутствием их обременять не будет, просто широкая птичья натура требовала опохмелки. Ворон «пил» непробудно года три подряд. Мужики первым делом наливали в стакан чуток водки, бросали на донышко хлебные крошки, чтобы они пропитались градусами, и выдавали, как они говорили, заслуженные «фронтовые» птице. Ворон блаженно, не торопясь, угощался, потом начинал, словно в танце, хлопать крыльями, смешно карябал лапами землю. Словом, валял дурака.

Натанцевавшись и накрасовавшись перед мужиками, Егор Егорович тяжело взлетал с земли и садился на ближайший телеграфный столб. Потом прятал свою буйную голову под крыло и засыпал. Надо сказать, что хмель у Егора Егоровича проходил быстро. Протрезвев, ворон срывался с места, летал над посёлком и находил новых собутыльников. Благо, в те застольные времена было мало кафе и забегаловок, и любители спиртного кучковались в основном в подворотнях.

Птица за своё пристрастие к зелью имела заслуженный авторитет и была достопримечательностью рабочего околка. Егора Егоровича знали все и берегли как зеницу ока. Так, как берегут иногда в доме ненужную, но чудную вещь. Надо сказать, что Егор Егорович разбирался в выпивке и не трогал крошки, если их размачивали в «Солнцедаре». Пожилые люди наверняка помнят это «чудесное» вино азербайджанского производства. Если ненароком плеснёшь им на собаку, она сразу облысеет и будет в таком виде с жутким воем носиться по посёлку. Но мы, русские мужики, этим напитком не брезговали из-за его дешевизны и высокой градусности. Но это так, к слову...

Ворон — птица умная и живёт, говорят, более ста лет. Конечно, если не злоупотребляет, как Егор Егорович. Наш же ворон из-за постоянных пьянок терял свой гордый птичий облик: глаза у него стали покрываться болезненной белой плёнкой, перо теряло блеск, крылья, когда ходил по земле, мелко вздрагивали, как руки неисправимого алкаша. Но главная беда — Егор Егорович потерял чутьё к качеству на-

питка и в последнее время не брезговал крошками, размоченными в «Солнцедаре».

Окончательно же доконала Егора Егоровича, так сказать, перестройка, когда для дурусти быстрого хмеля мужики стали употреблять «самопал». Вместе с нами, пьющими, пытался приспособиться к рынку и Егор Егорович. Смерть птицы была для нас хоть и неожиданной, но вполне предсказуемой. Перед уходом в мир иной Егор Егорович склевал довольно много «самопальных» крошек. И не куражился, как прежде, не танцевал от избытка сил, а, вяло покрюкивая, болезненно поглядывал мутными зрачками на двуногих собутыльников. Потом тяжело поднялся на крыло, присел на телеграфный столб и вдруг камнем свалился с высоты на матушку-землю.

Как считают мужики, не выдержало сердце птицы дикого рынка и алкогольной перегрузки. Мы, его товарищи по кутежам, выбрали мёртвую птицу и схоронили Егора Егоровича под ближайшим кустом. Потом, постояв над свежим холмиком, мудро заметили:

— Мда-а-а-а... Употребляя «самопал», скоро все там будем, в земле.

И грустно разошлись по домам. А сапожник Егор, узнав, что его знаменитый тёзка «дал дуба», вообще перестал пить и не берёт в рот спиртного вот уже десять лет.

ЗАПАСЛИВЫЙ БУРУНДУК

Бурундук поселился у меня на даче. Подкармливал я его семечками, крупой, хлебными крошками. Стал бурундук совсем ручной. Присяду на крыльцо после огородных дел отдохнуть, а бурундук тут как тут: присядет на пень, на котором я колю дрова, и поглядывает хитро на меня, в надежде что-нибудь стащить из открытых настёж сенец. Я бурундука за ярко-рыжий окрас, за вороватость, естественно, обозвал Чубайсом.

Сосед по даче Кондрат Иванович рядом с моим домиком на меже разбил грядку бобов. При этом бобы были не нашенские, а забугорные. Вымахали они в высоту больше метра. К осени на кустах тяжелели мощные стручки. Не нарадуется Кондрат Иванович.

ЗЕЛЁНАЯ ШЛЯПА

— Люблю похлёбку из бобов, — говорил он мне. — На зиму, думаю, теперь деликатеса хватит...

Пришло время собирать урожай. Бобы стояли как ни в чём не бывало, одна беда и загадка — в ядрёных стручках не оказалось зёрен.

Расстроился Кондрат Иванович:

— Буржуй — он и в Африке буржуй, ради прибыли он не гнушается надуть трудящегося человека. Теперь не буду в огородном деле использовать забугорный семенной материал. Наши бобы хоть и помельче, но зато при любой погоде урожай дают...

Я посочувствовал Кондрату Ивановичу и напроочь забыл о разговоре, пока поздней осенью не начал ремонтировать завалянку своего дачного домика. Оторвал доску, а там — Боже мой! — один к одному, словно дубовые жёлуди, в углублении бобы уложены. Ядрёные, чистые — хоть сразу в суп. Догадался я, что это нечистый на лапу бурундук Чубайс себе на зиму запас сделал. Выгреб я бобы из кладовки зверька — чуть не ведро получилось. Килограммов пять отборного продукта — не меньше.

Сварил я бобового супа, пригласил на трапезу соседа. Кондрат Иванович суп хлебал — только ложка мелькала, а сам этак подозрительно посматривал на меня:

— Слышь, откуда у тебя бобы? Ты, кажись, их не сдил...

Рассказал я соседу про ворюгу-бурундука Чубайса, про его кладовку.

— Забери урожай, — говорю. — Твой он...

Кондрат Иванович подобрел лицом, улыбнулся, отсыпал себе в полиэтиленовую сумку часть урожая, а остальное оставил.

— Твой зверь на уборке трудился. Это его доля, гононар, так сказать. Зря я буржуйское племя винил...

А бурундук после моего «набега» на кладовку исчез. Обиделся, наверное, смертельно на меня и в ближайший лес ушёл...

Откровенно говоря, жалко зверушку. Вот если бы его «электрический» тёзка исчез с горизонта страны, у меня бы ни один мускул на лице не дрогнул. А это всё же бурундук! Живая душа...

Я тоже когда-то форсил в фетровых зелёных шляпах, в цветных галстуках и старался выглядеть на все 150 процентов внешних возможностей. Не выходил без галстука и шляпы на работу, когда трудился экскурсоводом в Шушенском, потому что по долгу службы был в центре внимания экскурсантов со всех концов Советского Союза и из-за рубежа. В общем, работал чинно, благородно и был на неплохом счету у начальства, так как умел ярко доносить до масс славные страницы нашей замечательной истории.

Мужики-экскурсанты были для меня все на одно лицо, а вот экскурсанточки иной раз интересовали, и я останавливался на наиболее ярких натурах свой скромный взгляд. Нет, смотрел без каких-то пошлых мыслей, а просто так — не запретишь же смотреть человеку на яркий цветок. Из-за женатого положения я не помышлял о кратковременном романтическом любовном землетрясении, но разве уберёжешься от приключений, если душа не зачерствела и требует иногда смены жизненной декорации.

Однажды после экскурсии я морально расслабился и согласился «выкушать» за вечную дружбу между народами с латышскими гостями Шушенского. Дружеский ужин проходил в одном из номеров гостиницы «Турист». Надо сказать, что латыши и латышки — люди общительные, без комплексов, большие любители выпить, не прочь при случае сморозить лёгкий любовный романчик. В общем, люди, так сказать, цивилизованной европейской закваски.

Следовали тост за тостом, и я почувствовал полную свободу, лёгкость в мыслях, лишился присущей мне некоторой прирождённой скованности. Как я понял, мужики-латыши заранее распределили подруг, а мне оставили возможность поухаживать за вальяжной блондинкой Розой.

Откровенно говоря, Роза мне понравилась. Было в её облике много приятственности, этак волнительно выпирала из лёгкой кофточки спелая грудная клетка, плотные бёдра под столом бились, как белые белуги, и как бы ненароком касались моих ног, отчего я вздрагивал и млеял от истомы...

Я снял галстук, выбросил его куда-то в угол, расстегнул от удушья верхние пуговицы рубахи. В общем, дело шло на

полный контакт, и моя ладонь уже лежала на бёдрах Розы, и я ей намекал на отдельный номер для закрепления дружбы между латышским и русским народами...

Но наша международная дружеская встреча была бесцеремонно прервана: резко, с шумом распахнулась дверь, и на пороге появилась моя разгневанная половина.

Она метала громы и молнии, и моё перо бессильно правдиво описать конфликтную ситуацию; скажу только, что я летел по лестнице вниз, как пуля, и, конечно, без галстука и зелёной фетровой шляпы.

С неделю я в своём доме чувствовал себя очень неудобно, но постепенно раздражение жены сошло на нет, и она, сменив гнев на милость, подтрунивала надо мной по поводу потери зелёной фетровой шляпы. С тех пор я возненавидел шляпы и галстуки и исключил эти излишества из своего гардероба.

КАК МЕНЯ СТАРШИНА «СЕКВЕСТИРОВАЛ»

Служил я на флоте как раз в то время, когда были в моде широкие клёши, которые мы называли промеж собой «раскинулось море широко». Чтобы иметь изысканно-кронштадтский вид славного революционного прошлого, мы вставляли в штанины клинья, убирали все внутренние перегородки в бескозырке. А как походить на истинных морских волков, много раз прошедших через экваториальные воды? Отбеливали в хлорке гюйсы до голубизны не-свежего молока.

Вот в таком разухабистом виде, в небольшую раскорячечку, слегка пошатываясь, что означало: земля под ногами для меня большая редкость, а уверенно чувствую себя только на зыбкой палубе корабля, — я отправился в свою первую увольнительную.

Естественно, по курсу в матросский парк вёл я зрительную разведку в отношении женского пола. Забрасывая «удочки» налево и направо, принимал все меры, чтобы на мою «фотографию» обратили внимание встречные молодые особы в смысле амура. Но во Владивостоке, сами понимае-

те, нашего брата — голодного до любви матроса — пруд пруди, а местные девчонки цену себе знали...

Но одна всё-таки «клюнула», заинтересовалась, притормозила ход. И потом не кочевряжилась — охотно отвечала на мои игривые намёки. За такое к себе снисхождение я в неё сразу и окончательно втюрился. Как сейчас помню: милая, смуглая, черноокая. А звать-то — Муза!

В общем, разведка показала, что сердце Музы на тот день было свободно, и она не прочь провести была со мной вечер в смысле танцев и прочего... По ходу разговора навешал я «лапшу» ей на уши о штормах, кораблях и кашалотах, походя сметая своими восхитительными клёшами окурки с тротуара...

И вдруг слышу:

— Товарищ матрос, подойдите сюда!

Голос резкий, приказной.

Оглядываюсь. Ба! Военный флотский патруль, во главе с усатым старшиной-сверхсрочником...

Как положено, подошёл, отрапортовал.

Старшина, обмерив меня с ног до головы, ехидно так ухмыльнулся:

— Почему не по форме, товарищ матрос? — и тут же скомандовал подчинённым: — Ну-ка, приведите его форму в надлежащее уставное положение!..

Один из патрульных нагнулся к моим клёшам и так спокойно, без тени смущения, надрезав бритвочкой швы на клиньях, с треском вырвал вставки из штанин...

— Идите отдыхайте, товарищ матрос, — посоветовал старшина и отдал честь.

Я, сверкая белыми ногами, побрёл к Музе. Налетевший с просторов Тихого океана бриз трепал гачи, словно пиратские флаги, а белые тощие мои ноги служили им некрашеными дровками...

Муза хохотала, поблёскивая единственной золотой фикусой. Я как-то пытался исправить положение, уговаривал Музу, чтобы она увела меня к себе домой для ремонта штанов. Но она отказалась, сославшись на строгую маму, которая может превратно понять её душевный порыв.

В общем, любовь с первого взгляда дала трещину: Муза ушла без следа, без намёка на предмет продолжения знакомства, ушла в каменные дебри Владивостока от конфуз-ного инцидента.

Я кое-как проволочками заделал гачные разрывы и вернул в часть, вздыхая и скуля при мысли, что счастье с этой самой Музой было бы так возможно, если бы не подлюга старшина. Кто знает, возможно, дружба с Музой зашла бы далеко, она стала бы моей судьбой и сейчас, под старость лет, Муза качала бы на ноге внучат и вместо одной скромной золотой фикса у ней красовалась бы во рту вставная золотая челюсть...

КАК Я ПЫТАЛСЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Это было давненько, на заре «демократии», я тогда работал зав. отделом локомотивной службы газеты «Красноярский железнодорожник».

Позвонил мне знакомый дивногорский «демократ», постоянно перегруженный передовыми идеями, и сообщил: есть мнение, что нужно приватизировать, отдать в частные руки дивногорскую железнодорожную ветку. По такому случаю намечено собрание коллектива, на которое придёт и сам мэр Александр Владимирович Новак. Конечно, мне, как сотруднику железнодорожной газеты, сам Бог велел присутствовать на собрании, осветить в прессе это эпохальное событие. Я накинул на себя длинное кожаное пальто и пришёл в назначенный час на «исторический» форум. Коллектив станции, прореженный до минимума штатными сокращениями, собрался в кабинете начальника Екатерины Михайловны Кузнецовой. Пришёл и мой знакомый «демократ». Правда, мэр отказался от участия в собрании, резонно заметив по телефону, что ему недосуг заниматься этой беспроектной дурью...

Инициаторы приватизационного процесса — какие-то неизвестные люди с края — на собрание тоже не явились.

И тут я, с присущей мне заботой о людях, решил проявить инициативу. Подмигнув незаметно Екатерине Михайловне, чтобы она меня не выдавала, я обратился к коллективу, сплошь состоящему из очень симпатичных женщин:

— Поздравляю вас, дамы и господа, с наступлением радужного и безоблачного будущего. Мы, из-за убыточности

пригородного сообщения, решили приватизировать вашу непродуктивную ветку и создать здесь цветущий оазис рынка.

Женщины меня не знали и поэтому решили, что я и есть тот самый загадочный приватизатор, их будущий, так сказать, отец и барин. Тем паче, моё кожаное пальто выглядело довольно авторитетно. Они, потупившись, молчали, с любопытством ждали, что я скажу дальше.

— Так вот... Вокзал мы, естественно, переоборудуем, откроем в зале ожидания казино, верхний этаж отдадим под «нумера», где будут отдыхать уставшие от переустройства страны «новые русские» с «ночными бабочками». Часть «бабочек» привезём из краевого центра, часть воспитаем на месте. Создадим, так сказать, рабочие места для молодёжи.

Женщины уже привыкли к «демократии» и претензий не выражали. Только одна, более шустрая, спросила:

— А как пути, сигнализация и прочие механизмы? За ними уход нужен...

— Железнодорожные пути нам без надобности. Рельсы мы продадим на перекрытие гаражей, погребов, дач, электрокабели и другие бронзовые и медные изделия сдадим перекупщикам металла. Из шпал напилим дров для дачников, костыли, гайки пустим на грузила рыболовам. В общем, всё продумано до мелочей. Ну, а для вас, дамы и господа, наступят райские дни существования. Всем будет выдано по одной голосующей акции, и вы тоже будете собственниками, или, проще, капиталистами...

Женщины смотрели на меня как на «врага народа», в их сердцах зрел справедливый протест, я чувствовал, что минута-другая, и они взорвутся, растерзают меня, «благодетеля», на мелкие кусочки вместе с моим буржуинским кожаным пальто...

Екатерина Михайловна приостановила зреющий гнев, засмеялась:

— Шутит дядя... Из газеты он, нашей, железнодорожной...

Женщины искренне обрадовались розыгрышу, разошлись по домам.

Отступил в спешке и в полном беспорядке мой знакомый «демократ».

Я догнал его у ДК «Энергетик».

— Скажи не таясь, чья это дурацкая идея приватизировать ветку? — спросил я у него.

— Дэк... Дак... Благородно, так сказать, вывести в передовые отстающий от рынка железнодорожный тупик...

В общем, я понял, что это от них, дивногорских «демократов», исходила инициатива. Только они, «демократы», способны на поступки, от которых хочешь и плачешь одновременно, как при щекотке.

Шутка шуткой, а такой сценарий дробления российских железных дорог серьёзно обсуждался реформаторами. Слава Богу, что в то время стоял во главе ведомства патриот и прекрасный хозяин, наш земляк Геннадий Матвеевич Фадеев. И то, что дороги остались в государственной собственности, это его заслуга...

КНЯЗЬ-РЫБА

Одному жителю Усть-Маны, Петру Столярову, повезло: на перекате «зацепился» за его блесну таймень. С трудом он вытащил добычу на берег. Таймень упруго и сильно бился о прибрежный галечник.

Недавно Пётр прочитал «Царь-рыбу» В. Астафьева и, продевая через жабры тайменя брючный ремень, радостно пробурчал:

— До «царя» не дотягивает, а вот для «княжеского» звания вполне подходит.

Надо сказать, что Столяров был рыбак неважнецкий. В основном с реки возвращался с пустыми руками. А тут такая рыба!

Домой Пётр шёл по самым людным улицам Усть-Маны, чтобы все видели, что он «не лыком шит»... Таймень висел на спине — рыба была ещё живая, вздрагивала...

Пётр завернул в продуктовый магазин, попросил взвесить улов.

— Вот это да! — восторженно прищёлкнула языком продавщица. — Девять килограммов пятьсот граммов. Ну прямо-таки поросёнок...

Столярова окружили женщины:

— Молодец, Петро!

— Спать вашим мужикам поменьше надо, — гордо отрезал рыбак...

И тут в голову Петра пришла хорошая идея.

«А что? Я их всех заставлю рыбачить, — подумал он с тихой радостью. — В ближайший выходной все мужики как один будут стоять со спиннингами на перекате».

И когда дома обрадованная жена хотела приступить к разделке тайменя, Пётр запретил:

— Не трожь... подсоли немного и спрячь в погреб. Никому ни слова.

Жена Галина была женщина послушная и спорить с мужем не стала.

Когда стемнело, Пётр завернул тайменя в мешковину и тёмными закоулками отнёс его к перекату; он отпустил рыбу в воду и за кустиком зацепил за корень, притаил от глаз.

Утром Пётр опять нёс по самым людным улицам Усть-Маны огромного тайменя. Правда, тот не бил хвостом по сапогам рыбака и был абсолютно недвижим. Но этого никто не заметил.

Такая же история повторилась на следующее утро. Правда, на этот раз Пётр проскочил по улицам Усть-Маны быстрым шагом, не останавливаясь (таймень стал немного припахивать), но слава про удачливого рыбака прокатилась по посёлку и дошла даже до Красноярска.

Женщины завидовали жене Петра Галине.

— Закормил тебя Пётр рыбой, — говорили они.

— Да, это так... Оскоми́на от этих тайменей. Надоели до чёртиков, — скромно вздыхала Галина.

В воскресенье весь перека́т кишмя кишел рыбаками. Никто, конечно, рыбы не поймал. Столяров ходил по берегу и давал ценные советы:

— Кидай ближе к правому берегу, там он...

У правого берега сплошняком лежали на дне топляки и торчали коряги, и рыбаки после одного-двух забросов обязательно обрывали блесну, но на Столярова не обижались. Авторитет его был непререкаем.

— А сам-то что не рыбачишь? — спрашивали любопытные.

— Да куда мне... Пойманных не могут съесть. Весь холодильник забит рыбой.

Недавно Галина раскрыла секрет рыбацкого «счастья» Петра. Повздорила она с ним, и когда в магазине женщины опять начали задавать завистливые вопросы и восторгаться мастерством Петра, Галина засмеялась:

— Дурил он вас. Одного и того же тайменя три дня по улицам носил. Пока таймень не протух. Сами не попробовали улов. Выбросили...

— Ну и ну, — ахнули манские женщины. — Вот те на. Ну и Пётр!

Теперь манских мужиков жёны перестали «пилить», и они забыли дорогу к енисейской протоке. А вот красноярцы и дивногорцы пока на ней промышляют. В этом вы можете убедиться сами из окна электрички, когда она проходит манский мост.

МОРДУШКА ПАСТУХА СЕМЁНА

Тяга к воровству у русского человека заложена, наверное, в генах. Я себя, естественно, считаю честным человеком. Но по мелочам, незаметно, стихийно чужим добром иной раз пользуюсь без зазрения совести...

Мой сосед по садовому участку Колька года четыре назад достал где-то великолепную малину. Низкорослая, ветвистая, она буквально ломилась от обилия ягод и плодоносила до заморозков. Зуб на это чудо у меня возник сразу. Благо, Колька разбил плантацию малины на границе межи, отростки от неё стали щедро оккупировать мою землю. Естественно, я воспользовался моментом и этак впрок, незаметно стал выкапывать малиновый молодняк и пересаживать куда мне надо...

А Колька запустил плантацию: заросла она у него пыреем, и культура выродилась. В этом году он выкорчевал остатки убогой малины и с завистью посматривал на мою ухоженную, живую, давшую обильный цвет и лист культуру.

— Где брал саженцы? — спросил он. — На базаре или на плодово-ягодной станции?

— У тебя, — честно сознался я.

Колька не поверил и попросил по осени отростков для развода... Конечно, дам. Нельзя не дать... Это пример, когда этакое лёгкое и игривое воровство обернулось благом и для меня, и для пострадавшего...

Но есть в моей «воровской» биографии грешок посерьёзнее. Отдыхали мы семейно в палатке на красавице Ое, что

на юге края. Собирали грибы, ягоды, ловили рыбу. Как раз созрела полевая клубника, рыба обленилась, и попадались на удочку только юркие пескари да гужом шли сопливые «гоминьдановцы»-ерши. Уха получалась преотменная, но мне хотелось порадовать семью более существенной, благородной рыбой...

Я заметил, что местный пастух, соловей-матершинник Семён, буквально в ста метрах от нашего лагеря в тихой речной заводи проверяет мордушку. За раз он вытряхнул в за поясную сумку с ведро добротной рыбы...

Я этот факт учёл и намотал на ус. По утрянке, когда солнце холодно поднималось из-за горы и от воды шёл туманный парок, я, пока спали дети и не видели моего неблагоприятного поступка, проверил Семёнову мордушку. Она была под завязочку наполнена краснопёрыми сорожками, ельцами и двумя заблудшими хищными щуками. Вытряхнув улов в заранее приготовленную сетку, я поставил мордушку на место. Дескать, так и было...

Восторгов у семейного костра в мою честь было хоть отбавляй. И такую вороватую неблагоприятную операцию я проделывал каждый день. Лишнюю рыбу моя уважаемая половина солила и вялила да искренне похваливала меня за рыбацкую удачливость. Я ни ей, ни ребятишкам не говорил об уловистой Семёновой снасти. Единолично, так сказать, купался в семейной славе...

А Семён, проверяя снасть, красиво и развесисто матерился, недоумевая, почему это вдруг рыба зауросила и проходит мимо мордушки...

И всё же совесть моя была нечиста, мне очень что-то хотелось сделать хорошее для пострадавшего сельского пастуха.

Когда мы уходили с гостеприимной речки, я подарил Семёну шахтёрскую брезентовую куртку. Семён посмотрел на меня с подозрением и без обиняков спросил:

— Слышь, а не ты ли рыбу с моей мордушки вытряхивал?..

— Нет, не я...

— Я так и думал... А за подарочек спасибочко. Думаю, что и вы не внакладе. Вон сколько рыбы-то насущили, — кивнул он головой в сторону плотно набитого рюкзака...

Нет, что ни говори, а отдых на речке Ое без Семёновой мордушки был бы не совсем полноценен. Есть какая-то романтика в шаловливом воровстве.

Тихо, осторожно, словно доблестный партизан, пробираешься сквозь прибрежный кустарник к реке, озираясь, лезешь с лёгким замиранием сердца в парную воду. С трепетом вытаскиваешь чужую мордушку. И — на тебе... ни за понюх табака — дармовая рыба...

Вот я и говорю: наверное, в душе каждого русского человека есть особые воровские гены. Только они разные: у одних большие, у других маленькие. Вот поэтому одни очищают мордушки, другие — карманы граждан, а третьи грабят страну...

МОЯ РЫНОЧНАЯ НИША

Пельменная на проспекте Мира в застойные времена была для меня, можно сказать, родным домом. Обедал я в этой точке общепита почти каждый день.

Недавно решил заморить в пельменной червячка, съесть двойную порцию с бульоном... Подхожу к учреждению. Что за чёрт! Нет пельменной. Вывеска на инязе. С трудом прочитал, что здесь теперь не пельменная, а «бистро». Хотел повернуть оглобли и не рисковать, но голод не тётка...

В обеденном зале большие изменения — всё блестит. Евросервис. В меню разные блюда с иностранными названиями, ценники такие, что так и хочется кому-нибудь съездить по мордасам... Были в меню и пельмени. Взял, как и мечтал, с бульоном. Слава Богу, пельмени не изменились с советских времён: такие же родненькие, такие же разлезшиеся, как при социализме.

Хлебал. Думал. Всё же раньше, когда учреждение называлось пельменной, здесь было уютней и демократичней. Народ был свой, рабоче-крестьянский, без претензий. Сейчас какие-то парни, побритые под бритву, экзотические девицы. Напротив за столиком жрут продукты, запивают водкой и пивом двое «крутых». На лицах сытость и довольство без малейших признаков интеллекта. Один не выдержал

пиво-водочной нагрузки — славно так, интеллигентно прилёг мордой в салат. Отдыхает.

Аппетит у меня, естественно, пошёл на убыль, пищеварение даёт сбой... Не смог доесть пельмени, положил остатки в карман, вышел на улицу.

В спешке, в суете не обращал раньше внимания на городскую пейзаж, думал, что живу в России. Присмотрелся к вывескам и ничего не пойму, так как языки знаю слабо: кругом какие-то «шопы», «сенаторы», «лас-вегасы», «кокаколы», «пикры». Сплошной Бродвей. Только собаки наши — худые, клочкастые. Подозвал одну, вытащил пельмени из кармана:

— На, Бобик, угощайся...

Присел на приступку крыльца «бистро» в тяжёлом раздумье. Собака рядом. Под ноги порыв ветра подкатил пустую коробку из-под ксерокса. Слышу, в коробку — звяк, звяк — деньги падают. Прохожие спонсорскую помощь оказывают мне и Бобику. Долго сидел — горевал по социализму, а когда подсчитал выручку, как поленом по голове ударило:

— Что это я, чёрт дери, на капитализм ворчу, режим хаю. Вот моё место, вот моя рыночная ниша...

Многие меня, наверное, видели и Бобика моего знают. Я каждый день сижу на крыльце «бистро», и Бобик рядом... Даже в лютые морозы был на посту. В морозы хорошо спонсировали. Спасибо.

Вот я и говорю: зашёл в пельменную поесть и нашёл непильную работу...

НЕ ПЕЙ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Третий секретарь Шушенского райкома партии Григорий Васильевич Баев, царство ему небесное, был, как я сейчас понимаю, милейшим и добрейшим человеком. Хотя в то время я на него обижался за то, что он иной раз указывал, как и что мне писать в газете. Но это должность у него была такая. Идеологическая.

Помню, напечатали мой материал в «Советской России» — о музее-заповеднике «Сибирская ссылка В.И. Ле-

ПОЛЕЗНО БЮРОКРАТАМ НЕ НА ТЕ ДЕРЕВЬЯ ЛАЗИТЬ

нина», о том, что в музее для реставрации разрушающихся от времени деревянных экспонатов применяют методику, разработанную специалистами всемирно известного заповедника русского деревянного зодчества Кижи. При правке в газете Кижи выбросили, и получилось, что этот состав разработали в ленинском музее. Страна тогда была огромная, древних деревянных построек на её просторах — бесчисленное множество, вот и пошли письма в Шушенское целыми мешками с просьбой поделиться опытом пропитки.

Звонит Григорий Васильевич, резко упрекает за допущенную неточность, не принимает никаких моих оправданий и возражений, говорит, что, наверное, я писал материал в «Советскую Россию» в состоянии подпития. Это меня возмутило.

— Я ни строчки не могу сочинить пьяным, Григорий Васильевич. Да, я не святой, люблю иной раз вмазать, что скрывать? Но и вы не из святых. Вы пьёте тайком и каждый день. Заберётесь в стиральную машину и там, в темноте, пьёте. Для конспирации ваша баба на стиралку ставит тазик с бельём...

Ляпнул. Положил трубку... и страшно стало. Думаю, не избежать наказания. Жду неделю, другую... Тишина. Райком обхожу стороной, чтобы не встретиться случайно с Бавым.

И надо же, столкнулся с ним лицом к лицу у Дома культуры. Скрыться, трусливо сигануть в кусты не успел.

Григорий Васильевич идёт ко мне с укоризненной улыбкой:

— Ну как так можно, Вениамин? В стиральной машине пью, да ещё баба сверху тазик с бельём ставит. Я, откровенно говоря, лет пятнадцать вообще не употребляю. Сердце. Ночи три не спал — выбил ты меня из колеи. Нельзя так...

— Дык... извиняюсь, виноват, — замямлил я.

— Ладно, ладно — мало ли что бывает между нами, мужиками...

Так и разошлись.

Григорий Васильевич после этого инцидента ко мне теплел. Проповеди по поводу моих публикаций в прессе уже не читал.

Добрая душа...

Я, откровенно говоря, не большой поклонник кедровой охоты. Вот если с кем-то, кто будет ловко лазить на деревья, — тогда ничего. А сам боюсь верхотуры, нервничаю и поэтому предпочитаю брать кедровый падальник по весне...

Охотку к покорению кедровых вершин отбила мне лет двадцать назад неудачная попытка полакомиться таёжными орешками. Это было в Саянах, на Ергакском перевале...

Усыпан был кедр шишками — манил в поднебесье. Вот и полез я за добычей. Духота была неимоверная, комар «жарил» — спасу нет. А я лез, пыхтел, покорял...

Вот и вершина!

Присел на сук, чтобы передохнуть, собраться с силами и приступить к сбору таёжного урожая. Сажу на суку, радуюсь, горжусь собой. Сожалею, что не видят меня люди на этой верхотуре, особенно особы женского пола, и не показывают на меня в восхищении пальцами: во даёт, дескать, мужик!

Отдышался, огляделся... Что за чёрт — нет шишек. Своими глазами видел, что тьма их была на дереве, а тут ни одной, хоть лопни! Как будто улетели шишки в голубое небо, словно вспугнутые воробьи с забора...

Делать нечего — кряхтя и охая, полез вниз. У комля задрагал голову в небо: проверить решил, не померещилось ли мне обилие шишек...

— Олух! — закричал я сам на себя, да так сильно, что от густоты моего голоса сорвались с откоса камни и с грохотом полетели в долину. Оказывается, я вместо кедра на рядом стоящую сосну забрался... Как перепутал стволы — не ведаю. Бес, видимо, попутал...

Разговор у меня там, в Саянах, с самим собой состоялся крутой, нелिцеприятный. Всё я тогда сам себе высказал, что о себе думал. Не боялся в глаза говорить горькую правду. А я ведь тогда при портфеле был, начальником районного масштаба — редактор районной газеты.

По своему опыту сужу — полезно бюрократам иногда не на те деревья лазить.

Эх, хорошо бы, если бы не на те деревья перед выборами ползали всякие там кандидаты в депутаты. Поговорили

бы самокритично сами с собой по душам, прикинули, есть ли у них «порох в пороховницах» для трудной работы или просто хочется покрасоваться на властной вершине... Может быть, некоторым из них пришла бы верная мысль, что, кроме сбора «падальника» по весне, они ни на что не способны...

«ПУШНИНА» У КАЛИТКИ

Что ни говори, а работали мы в застойные времена в газетах напряжённо. С утра опохмелишься, и только перо по бумаге — скрип да скрип. Шедевры о наших достижениях и победах прямо-таки лезли из головы — спасу нет. Без опохмелки получалось хуже, плаксивей. А так — сплошные «ура!». И люди тогда были хорошие, не жлобы, как сейчас. Сознательные. Пример сознательности показал начальник ребрихинского районного медвытрезвителя капитан Бурмакин. До сих пор вспоминаю его добрым словом.

Работал я тогда заместителем редактора «районки». Отпахав, как и положено, восемь часов, мои коллеги собирались у меня в кабинете отметить удачный рабочий день. Брали закуску, водки — в среднем по бутылке на нос. И ни на грамм больше. Понимали, что завтра опять нужно идти на работу. Сознательные были.

И взял я такую привычку на вооружение: пустые бутылки после дружеского застолья укладывал в портфель и бодрым, слегка нахрапистым шагом шёл домой. Путь мой лежал мимо дома, где жил начальник медвытрезвителя. Не понесёшь же пустые бутылки, или, как мы называли эту посуду, «пушнину», домой. Зачем нарываться на скандал с женой? Вот я и приспособился ставить бутылки под калитку Бурмакина. Поставлю — и в проулок, как будто и не было меня... И так почти каждый день.

И вот однажды, когда я выставлял «пушнину» под калитку, из дома неожиданно вышел сам капитан Бурмакин и начал, естественно, претензии выражать.

— Так вот это кто безобразничает! — заругался он. — У меня уже полстайки ваших бутылок. Сообщу в райком, чем

вы там занимаетесь в редакции. Ты ведь не бухты-барахты, а замредактора. Заметный человек в районе...

— Извините, — бормочу. — Больше не буду...

Капитан ничего не ответил, подобрал бутылки и ушёл.

А я, бедняжка, начал ждать вызова в райком на предмет прочистки мозгов, так сказать, по партийной линии.

Жду неделю, жду две: не опохмеляюсь, не пью. В «трезвяке» живу — ни в одном глазу две недели подряд. Это ж надо!

Вдруг раздаётся звонок. В трубке — голос Бурмакина:

— Ты заberi «пушнину» из стайки. Там её скопилось уйма. Не пойду же я, начальник медвытрезвителя, её сдавать.

Я заикнулся в отношении жалобы в райком.

— Ещё не хватало дурь твою выносить на общий обзор. Чести много будет.

Дело уже было к концу рабочего дня, до получки ждать ещё долго, денег у членов коллектива в карманах нет. А выпить, обмыть благополучно закончившееся дело с «пушниной» очень захотелось. Я вызвал к себе в кабинет сотрудника, любителя выпить на дармовщину, Юру Плетнёва.

— Выпить хочешь?

— Глупый вопрос... А кто же не хочет?

Юра жил недалеко от редакции.

— Сходи домой, возьми свой большой рюкзак и иди за «пушниной» в стайку капитана Бурмакина. Сдашь — и дело в шляпе.

— Да как так можно? — удивился Плетнёв. — Идти к самому начальнику медвытрезвителя за «пушниной»? Чудно как-то.

— Не волнуйся, — объясняю, — всё нормально. Супруга Бурмакина уже предупреждена. Она тебе с радостью отдаст все бутылки.

Юра блестяще выполнил «боевое» задание. «Пушнины» хватило на три бутылки водки и на каральку ливерной колбасы. Выпили. И так уютно, так спокойно на душе стало. Добрые слова говорили в адрес Бурмакина. Правда, с тех пор бутылки я ему под калитку сгружать перестал, а выбрасывал их в придорожную крапиву.

УСЫ КЛЯКИНА

Ух, какие усы были у Семёна Михайловича, какие усы! Нет, не у Будённого, а у его тёзки, снабженца Назимовского леспромхоза Клякина. Чёрные, как вороново крыло, завернутые замысловатой спиралью, растяни над землёй — и, как бы сказал Гоголь, птица не долетит от одного конца усов до другого. Крыло занемет от усталости. Берёг свои усы Семён Михайлович как зеницу ока, на ночь их укладывал в специальный чехольчик, сшитый из нежной кроличьей кожи, чтобы не помять это произведение искусства, не замочить ненароком мокротой, которая у каждого спящего человека вытекает из известного места. Особенно если этот человек накануне перебрал.

Гордился своими усами Семён Михайлович и совершенно не обижался, если его недруги обзывали Тараканищем.

— Усы — честь, а борода и у козла есть, — парировал выпады недоброжелателей Клякин и счастливо смеялся...

Но, как и любой русский мужик, Клякин любил выпить. Однажды в выходной день с утра Семён Михайлович употребил чуть больше, чем того требовалось организму. Естественно, уснул сном праведника и проснулся уже в вечерней сутемени. Голова ныла и болела, как будто по ней прошёл трелёвочник с сосновыми хлыстами. Захотелось Клякину подлечить голову, привести её, так сказать, в маломальски рабочее состояние, но, увы, опохмелиться было нечем. Все заначки Семён Михайлович опорожнил ещё утром. Магазин был, естественно, закрыт, и Клякин, стеная и охая, побрёл на поклон к соседу, сучкорубу Ивану Парфентьевичу Замяткину, или, проще, Парфентьичу. Он знал, что сосед всегда держал про запас бутылку-две сорокаградусной. На крайний случай...

— Кхе-кхе, — кашлянул Клякин, вваливаясь через порожек соседова дома. — Слышь-ка, Парфентьич, налей стаканчик, а то сердце откажет, каюк придёт.

Замяткин был по натуре человек добрый, беззлобный, а здесь решил покуражиться.

— Знаешь, Семён Михайлович, вас, таких «больных», в выходные много. На каждого не напасёшься. Не скрою, есть

у меня «лекарство», но тебе не дам. А вдруг кто из родни пожалует в гости, как тогда?

— Побойся Бога, — застонал Клякин. — Вдвойне отдам завтра, а могу сейчас деньгами...

— Нет, нет, деньги мне не нужны, не бедствую, а вот за ус бутылку отдам...

— За ус? — возмутился Клякин. — Да ты знаешь, что моим усам цены нет! Ты думай, что говоришь!

Семён Михайлович с возмущением плюнул на пол, растёр плевков сапогом и вышел на крыльцо. Присел, задумался. Голова трещала, как будто не один, а два трелёвочника с хлыстами по ней проехали. Вот-вот глаза вывалятся из глазниц и покатаются по сырой земле, с укоризной поглядывая в сторону хозяина. Терпежу никакого.

Клякин, кряхтя, поднялся с крыльца, вернулся в дом Парфентьича:

— Бери усы, живоглот, только дай опохмелиться...

— Не спеши, Семён Михайлович. Я хочу, чтобы всё было по-честному, без претензий, а то завтра протрезвишься, прибежишь с топором в дом. Пиши расписку. Дескать, так-то и так-то. Усы продал за бутылку водки добровольно и ко мне, Замяткину Ивану Парфентьевичу, впоследствии претензии предъявлять не будешь. Будь любезен... — сосед положил на стол осьмушку бумаги.

Клякину ничего не оставалось делать, как написать расписку...

Иван Парфентьевич взял ножницы, отрезал один ус Клякина, положил его в полиэтиленовый мешочек и выдал «больному» бутылку водки. Естественно, Клякин вернулся в свой дом и с аппетитом откушал напиток.

Утром, ополоснув лицо в спешке под рукомойником, пошёл Семён Михайлович на работу. Когда пришёл в контору, где собирались перед отъездом на лесосеку рабочие, был встречен гомерическим хохотом. Народ задыхался от смеха. Клякин понял, что смеются над ним. Провёл внезапно вспотевшей ладонью по лицу и чуть не упал в обморок. Один ус на месте, а другой как корова языком слизнула. Смутно вспомнил, что был в гостях у Замяткина. Сосед был в конторе и смеялся громче всех.

Клякин кинулся с кулаками к нему:

— Мар-р-родёр!

И быть бы крупной драке, но на пути Клякина встали мужики. Иван Парфентьевич вытащил расписку Клякина из кармана и сказал:

— Я по-честному, Семён Михайлович. Вот расписка. Ты добровольно расстался с усами... Прочитать народу документ?

— Не надо, — рявкнул Клякин, ещё раз обозвал Замяткина мародёром и ушёл домой, чтобы сбрить оставшуюся половину когда-то великолепных своих усов. Клякин начал выращивать новые усы и, говорят, взлелеял их лучше прежних. А главное, совершенно бросил пить...

С соседом Замяткиным Иваном Парфентьевичем он по сей день не здоровается. Сильно обиделся.

Замяткин срезанный ус Клякина увёз в районный краеведческий музей в город Енисейск, где, по слухам, он и хранится в запасниках...

ШЁЛ ПАРОК ОТ ТЕЛА

Если подходить с точки зрения морального кодекса строителя коммунизма, я поступил, мягко говоря, неправильно. Подумаешь, обиделся и поставил главного инженера Шушенской птицефабрики в совершенно неудобное положение, а уважаемым читателям навесил на уши лёгкую «лапшу». Конечно, по сравнению с сегодняшним враньём, которое позволяют некоторые газеты, это мелочь, шалость... Но всё же, всё же...

Но по порядку. Я ушёл из районной газеты и некоторое время работал слесарем-монтажником на птицефабрике. Не помню, за что я полаялся с главным, помню, что обозвал он меня «щелкопёром» и вообще никчёмным человеком.

Я, естественно, обиделся и пообещал ему, что кое-что расскажу о его неблагоприятных делах на страницах советской прессы, чтобы он знал, где зимуют раки и уважительно относился к служителям «пера и вдохновенья».

А зацепиться за главного инженера Владимира Цепелёва мне было трудно по одной причине — это был человек положительный во всех отношениях, специалист высокого класса, любимец коллектива «птичника».

Но раз пообещал написать, крути не крути, а слово надо было держать. Мы в застойные времена были людьми обязательными, не то что нынешние кадры!

Цепелёв был заядлый рыболов-подлёдник, настоящий ас блесны и мормышки. Вот на этом безвредном увлечении я его решил «накрыть», как бабочку кепкой.

Сел за стол в вечернее время для творческого процесса. Долго ломал голову, как бы «пожирее» уесть главного, провозился с микрозаметочкой до полуночи и создал соответствующий шедевр:

«Заядлый рыбак-подлёдник, главный инженер Шушенской птицефабрики Владимир Цепелёв в чёрную глубину лунки закинул свою любимую и уловистую мормышку из серебряных накладок выключателя яйцесборника. Что-то клюнуло... Привычная ловкая подсечка...

— Ага, есть! — обрадовался рыболов-любитель и добавил: — Врёшь, не уйдёшь!

Он с трудом подтянул к закрайке лунки леску и чуть не упал в обморок, когда увидел, что из чёрной енисейской воды показалась хитровая лисья морда. Почудилось, что лиса даже подмигнула рыбаку: не тушуйся, дескать, всё в порядке.

Как это ни удивительно, а на заветную мормышку действительно «клюнула» рыжая красавица. С трудом, трясуцимися руками, при помощи товарищей-рыбаков он вытащил добычу на лёд. Лиса была совершенно свежая, от её тела даже шёл лёгкий парок...»

«Начало неплохое», — подумал я, творя для газеты невинную шутку, а вернее, «утку». Но какой же дурак поверит, что рядовые лисы, пусть даже в нерядовых ленинских местах, плавают подо льдом и клюют, как придурошные окуни, на блестящие железяки?

И я, как мне кажется, ловко вышел из щекотливого положения. Закончил так:

«...Удивлённые рыбаки долго гадали, как оказалась лиса на мормышке, и пришли к единственно верному выводу. Чуть выше табора рыбаков-подлёдников была незамёрзшая промоина, прикрытая с закраин тонким ледком. По-видимому, лиса пыталась попить речной воды и соскользнула под лёд. Проточное течение не позволило ей выбраться на берег, и она «самоходом» зацепилась за крючок счастливи-

ка. Владимир Цепелёв был очень доволен уловом, но ещё больше довольна была его жена. Она как раз заказала зимнее пальто в быткомбинате, не было только воротника...»

Когда заметка появилась в газете, я принёс её в цех. Хохотали все до упада. Но больше всех хохотал сам герой публикации.

— Ну, писатель, ну, писатель, — говорил он с ударением на последнем слоге. — Надо же придумать: шёл, дескать, даже парок от тела...

Эту «утку» под рубрикой «И такое бывает» позже перепечатала «Сельская жизнь». Короче, об удачливом рыболове из Шушенского узнала вся страна, так сказать, от Курил до Карпат. Цепелёву пришлось несколько поздравительных писем от самых чутких и отзывчивых в мире советских читателей.

А вы говорите, что в застойные времена мы молчали, не критиковали начальство. Ещё как критиковали — пыль столбом. Писали всё, что было и не было... И всё правда...

Я ЕЙ ЧЕРНОМЫРДИНА — ОНА МНЕ ПО МОРДЕ

Я с молодых лет симпатизирую блондинкам: влюблялся в них пылко и безумно. И чтобы у блондинок лепестки сердца открывались навстречу моим любовным страданиям, призывал на помощь классиков: Пушкина, Есенина, Блока и многих других. Прочитаешь что-нибудь на розовое ушко, дескать, «дыша духами и туманами» или «я вас люблю, чего же боле, что я могу ещё сказать...», смотришь — даже самая заковрыжистая, капризная натура проявляет интерес к моей личности, и постепенно дело доходит до поцелуев и прочих лирических мероприятий...

Вот и недавно представился случай тряхнуть стариной, поволочиться за блондинкой и попытаться добиться взаимности. Не буду, для краткости текста, рассказывать о прелюдии знакомства, а сразу приступлю к описанию самого факта объяснения в любви. К белокурому предмету своего обожания я решил подкатиться с помощью афоризмов бессмертного классика двадцатого века Виктора Степановича

Черномырдина. Сжав в горячих ладонях её тонкие чуткие пальцы, я страстно прошептал: «Надо контролировать, кому давать, кому не давать. Почему мы решили, что каждый может иметь?..»

Блондинка посмотрела в моё не первой свежести лицо, а я вдохновенно продолжал: «Наша непосредственная задача сегодня — определиться, где мы находимся», потому что «вечно в России стоит не то, что нужно...»

Блондинка пыталась вырвать из моих ладоней свои чуткие пальцы. «Это не тот орган, который готов к любви, — процитировал я Виктора Степановича, не имея в виду ничего другого, как пальцы, и добавил: — Мы до сих пор доим тех, кто уже и так лежит... и вообще, Россия со временем должна стать еврочленом...»

Блондинка вспылила:

— Ну, знаете... Мне еврочлен без надобности...

Чувствуя, что любовь наша, так сказать, дала солидную течь, я решил поправить свои любовные дела последним аргументом из Черномырдина: «Вас хоть на попа ставь или в другую позицию — всё равно толку нет...»

Блондинка натурально врезала мне по мордасам и хлопнула дверью...

Вот я и говорю... Печальный опыт — тоже опыт. Не буду теперь, если подвернётся блондинка, объясняться в любви цитатами из современных классиков: Черномырдина, Жиринского, Немцова, Митрофанова, — а просто наклонюсь к ушку охмуряемой пассивности и прочитаю ей испытанное, что-нибудь из Блока, например, такое:

*«И странной близостью закованный,
Смотрю за тёмную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль».*

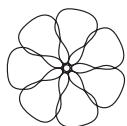
СОДЕРЖАНИЕ

Николай Зайцев. Песня жаворонка, или К вопросу о поэтике в русской прозе	3
ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОШОК	7
Как я оказался без гармошки	8
Лежу в траве	11
Незабудки	11
Дни поздней осени	12
Чтобы огонь летел из-под копыт	12
Закат в тополиной роще	13
Старичок-лесовичок	14
Боярыня	14
Дворики детства	15
Гнёзда ласточек	16
Целебный колодец	17
Подсолнечные кони	19
Воспоминание о молодой картошке	21
Костяничное вино Победы	24
Кукушка	26
Лесная арфа	26
Грибы бабьего лета	27
В поисках веры	28
Эхо	30
«Весёлые ключи»	30
Святая вода	31
Звучный иней	32
Аромат ушедшего лета	33
Сорочьи гнёзда	33
Ручей в дудке борщевика	34
Шашлыки из обабков	35
Калина красная	36
Угощаю рябиновым вином	37
Мартовская метель	39
Зима недаром злится	40
В синеве бора	41
Не зря жила	41
Находчивая сосна	41
Ручей	42
Дятел-музыкант	42

Надомились крылья	43
Лесная дорога	43
Птичьи песни	44
Зимняя ягода	44
Радуга из снегирей и дыма	45
Одинокая берёза	46
Белый снег и алые гроздья рябины	46
Под Полярной звездой	47
Отцовские тополя	48
Петькина яблоня	48
«Русь, ты вся поцелуй на морозе...»	49
Ночная прогулка	50
Берёзовые напевы	51
Белые горностаи	52
Берёза в инее	52
В поисках рябины	53
Воздух родины	54
Волшебная грибница	54
Волшебный посошок	55
Есть ли жизнь во Вселенной?	56
Золотая рыбка в ковшике	58
И присяду, и негромко и нескладно запою	59
Морозные узоры	60
Однажды вечером	62
Парное молоко с пенкой	63
Полцарства за коня	64
Улица добрая	67
Шуркин подосиновик	68
ЗЕЛЁНОЕ СОЛНЦЕ	71
Влажные глаза зверя	73
Внук Шурка и Пабло Пикассо	78
Гибель волчьей стаи	82
Гордые люди	86
Гриль в дырке	90
Зелёное Солнце	96
Зелёный забор с золотыми петухами	100
Как петуха чуть председателем не выбрали... ..	108
Любимые гады брата Павла	110
«Майор Вихрь»	113
Никишкины крылья	118

Ночь перед Рождеством	123
Подарок деда Егория	125
Родинские колодцы	127
Я не сорвал Полярную звезду	141
«ПУШНИНА» У КАЛИТКИ	145
Ворон Гришка	147
Гимн цепного цеха	148
Дедушка	151
Егор Егорович	153
Запасливый бурундук	155
Зелёная шляпа	157
Как меня старшина «секвестировал»	158
Как я пытался приватизировать железную дорогу	160
Князь-рыба	162
Мордушка пастуха Семёна	164
Моя рыночная ниша	166
Не пей в стиральной машине	167
Полезно бюрократам не на те деревья лазить	169
«Пушнина» у калитки	170
Усы Клякина	172
Шёл парок от тела	174
Я ей Черномырдина — она мне по морде	176

Сдано в набор 25.10.2007. Подписано к печати 16.11.2007.
Формат 60x84/16. Усл.п.л. 11,25. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 77.



Изготовлено в типографии «СЕМИЦВЕТ»
660049, Россия, г. Красноярск,
ул. Урицкого, 117
Тел. (3912) 94-85-78, факс (3912) 27-98-14
E-mail: semycvet@mail.ru
Сайт в Интернете: <http://www.semycvet.narod.ru>